

СЕРИЯ
БЛИЖНИЙ КРУГ



Николай
КЛИМОНТОВИЧ

ИЗБРАННЫЕ КАРТИНКИ
ИЗБРАННЫЕ ПОДПИСИ

Анна
БИРШТЕЙН



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "МАНЕЖ"
МОСКВА 2004

УДК 882-32
ББК 84 Р7
К49

*Охраняется Законом РФ
об авторском праве.
Воспроизведение всей книги
или любой ее части
воспрещается без письменного
разрешения издателя.
Любые попытки
нарушения закона
будут преследоваться
в судебном порядке.*

Проект «Ближний круг» осуществлен Центральным выставочным залом «Манеж» при содействии издательства журнала «Вестник Европы». В эту серию войдут произведения художников и писателей, связанных давней творческой дружбой с Центральным выставочным залом «Манеж».

Николай Климонтович – Анна Бирштейн

«Избранные картинки, избранные подписи» – М.: ЦВЗ «МАНЕЖ»,
2004 – 224 с./серия «Ближний круг»/

ISBN 5-902618-04-5

Книга рисунков и рассказов мастеров кисти и слова, известного художника Анны Бирштейн и писателя Николая Климонтовича продолжает серию «Ближний круг».



УДК 882-32
ББК 84 Р7
К49

© Николай Климонтович , 2004 г.
© Анна Бирштейн, 2004 г.

Из цикла
«Синица в руках»
(1970 – 1972)





СИНИЦА В РУКАХ

I

Грузовик дал задний ход, въехал на тротуар и остановился. Иван Кузьмич вылез из кабины, оглядел сквер, увидел старика на скамейке.

Старик сидел на скамейке. На коленях, на газете, лежал кусок черного хлеба.

— Закусываем? — деловито справился Иван Кузьмич, оглядывая сквер.

— Чем Бог послал...

— Как дела?

— Все хорошо, спасибо вам.

— Не за что... Давай, — крикнул он, — сюда подъезжай!

Грузовик въехал на газон.

— Выгружать? — спросил шофер, высунувшись из кабины.

— Погоди. Эй, старик, встань-ка.

Старик суетливо свернул газету, сунул сверток за пазуху, отошел в сторону.

— Пойди сюда, — позвал Иван Кузьмич шофера.

Тот подошел нехотя:

— Чего их двигать-то, — сказал он, — нечего их двигать, пушай так стоят.

— Не дорос, видать, до понимания. — Иван Кузьмич сплонул досадливо. — Люди ж сюда отдыхать приходят. А людям что на-

до — чтоб красиво было, не шалай-валяй. Берись.

Они подняли скамейку.

— Так, на меня чуть подай, — покрикивал Иван Кузьмич, — теперь влево чуть-чуть. Немножко. Так хорошо. Видишь — аккурат напротив той стоит. А урны сюда и сюда...

— Черт с ними, с урнами. Все одно — кто ими пользуется. Кому надо чего бросить — и так бросют. Вон сколько мусора валяется...

— Удивляюсь я на тебя — где так рассуждать учили?! О стране подумай — все б так рассуждали, порядка б никакого. А порядок нужен, чтоб не как попало...

Старик стоял рядом.

Иван Кузьмич забрался в кузов и принялся выбрасывать оттуда свежевывкрашенные жестяные урны. Урны раскатывались по блеклой траве.

— Эту вон туда, — приговаривал он. — И еще одну туда... Красиво должно получиться, верно?

— Верно, красиво, — тихо сказал старик. — Только вот спросить не у кого — правда иль нет? Ума нет — у русских не займешь. А правду — за пять рублей не купишь. — Он повернулся и побрел прочь, продолжая бормотать про себя.

— Эй, старик, теперь и посидеть можешь.

— Спасибо, Иван Кузьмич, я пойду, если можно.

— Отчего ж нельзя, иди. — Он отвернулся. — Эту вон туда ставь, не с той стороны, с другой, слышишь! Слепой что ли...

— Ты брось командовать, — огрызнулся шофер. — Я тоже командовать могу. Командовать все умеют...

II

ПРИНОСИТЬ И РАСПИВАТЬ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ,
— гласит плакат на стене.

— Чего с ими, с делами, случится, — говорил Федорович, держа по привычке руку в кармане халата, — дела в порядке.

— Слава Богу, — кивнул человек, слушавший его. Он отодвинул тарелку из-под супа, вытер губы ладонью и придвинул второе. — Слава Богу...

Рядом с ним на столе стояла клетка. В клетке на перекладине сидел щегол. Одиноким пожилой еврей щегла повсюду носил с собой.

— ... А вчера двое сидят вон там, — Федорович указал на столик у окна, — вижу — один тянет бутылку из портфеля, а с портфелями оба, интеллигентные. Подхожу — они ноль внимания, а тот, в шляпе, распечатывать собирается. Граждане, говорю, у нас не положено. Объявление, говорю, видели, для вас написано. А этот, в шляпе, мне книжечку показывает, красную, понимаешь, мол, удостоверься...

— Боже мой, — покачал головой еврей и сунул щеглу в клетку крошку хлеба.

— ... Порядок для всех, говорю. У меня самого книжечка не хуже — вы знаете, капитаном в отставку вышел.

— Капитаном, — эхом отозвался собеседник. — Как же, как же...

— Так и ушли, не выпив.

Старик вошел и остановился на пороге.

Владелец щегла доедал второе.

— Так что работем помаленьку, — закончил Федорович, — на посту, так сказать. — Он увидел старика, подозрительно оглядел его.

— Продаешь, — спросил пожилого еврея угрюмый пьяный мужик, сидевший рядом.

— Щегла?

— Да, птицу продаешь?

— Продаю.

— А что — поет она?

— Раньше пела, — вздохнул человек со щеглом.

Мужик повернулся к нему вместе со стулом.

— ... Она ученая, хоть и птаха божья. Фью-фью, — постучал он пальцем по клетке — птица тревожно завертела головой.

Б л и ж н и й к р у г

— А ведь врешь, что дрессированная, — задохнулся вдруг мужик. — Врешь, падло, морда жидовская. Крылья у ей подрезаны, лететь она не может...

— Такая и была. Бог свидетель — такой и подобрал. — Человек со щеглом говорил быстро, проглатывая слова.

— Продаешь, — зашелся мужик, рванулся со стула и повалился на пол.

— Боже мой, — шептал человек со щеглом.

Мужика сгребли под руки. Он плакал и ругался.

— Нажрался, — сказал Федорович ему вслед. — Видно с собой принес.

— Какие люди, — качал головой человек со щеглом, — Боже мой...

Старик сидел у окна,.

— Красиво все вокруг, — шептал он, — а правду не у кого узнать. За пять рублей ее не купишь — вот в чем беда.

Он развернул на столе газету, достал четвертинку из кармана.

У него дрожали руки, когда он снимал пробку.

Пряча бутылку под стол, он выливал водку в стакан.

— Для кого написано, — загремел по залу голос Федоровича. — А?

Старик застыл на мгновение, потом затряс бутылку, выжимая из нее последние капли. Затем, полуотвернувшись, едва не расплескав водку, поднес стакан ко рту.

— Кому говорят, мать твою...

Старик глотал, давясь, водку, скосив глаза на белый халат. Струйка водки текла по седой щетине на подбородке.

— Прекратить, — выкрикнул Федорович и дернул старика за рукав.

Стакан дрогнул у того в руке, выскользнул, покатился по столу. Водка закапала на пол.

— Гражданин начальник, — только и шепнул старик. Он не отрываясь смотрел на мутный ручеек на столе, на прозрачные капли, падающие вниз.

— Ты посуду бить!..

Старик сунул пустую бутылку за пазуху, собрал хлеб. Залитый стол будто очаровал его.

Когда он плелся к выходу, человек со щеглом проводил его глазами.

Держа руку в кармане халата, Федорович вернулся на свое место под плакатом. Его халат сверкал белизной, как бакен, в дымных сумерках полуподвала.

III

Старик шел вдоль витрин, в которых отражались прозрачные от неба лужи.

Он шел и говорил сам с собой.

— Я все могу: пахать, сеять. А скажи стебелек сорвать — не могу. Русский человек не может. А ты заставь его. Сам себя ущипнешь — и то больно, а как другие за шею возьмут да и начнут крутить — все сделаю, скажу, только отпусти...

Он шел, останавливался иногда, будто раздумывая — упасть ему здесь или идти дальше.

К крыльцу он подошел сбоку, стоял молча, пока дворничиха сама его не заметила.

— Пришел. Ты где ж, ядрена мать, пропадал два дня?

Старик по-прежнему молчал.

— Как жрать захочется, так приходишь.

Старик смотрел себе под ноги.

— Иди в дом. Все одно — толку от тебя не добьешься.

Старик спустился в подвал.

Он вошел в комнату — здесь стоял густой запах жилища. Прошел в чулан — на кровати лежали матрас и старое ватное одеяло. Старик лег, не раздеваясь.

Он очнулся и долго лежал не двигаясь в темноте.

— ... Теперь садик один остался, за кинотеатром — там сегодня

Ближний круг

ня скамейки выкрасили, завтра урны расставим и, почитай, к весне готовы, — громко говорили в соседней комнате.

— Иван Кузьмич, вот в честь весны и выпейте.

— Да что ж мы с вами все на одну тематику разговариваем. Не пью я, нельзя, как выпью — знаете, так и схватывает...

— Удивляюсь на вас — такой вы... не такой какой-то. Кругом пьют — а вы нет...

Старик прислушивался в темноте — голос дворничихи звучал незнакомо.

— ... Я ж для вас и покупаю.

— А что ж для меня. Вы для мужа покупайте.

— Да какой он мне муж. Живет — и Бог с ним.

Замолчали. Старик открыл глаза. Из комнаты пробивалась полоска света.

Старик встал, подошел к двери.

В щель он увидел накрытый стол. Самовар на табуретке. Ивана Кузьмича — он крутил в руках ложку. Дворничиху — ее красное лицо с будто вымазанными маслом губами.

Стрик открыл дверь.

— Вот, шляться снова пошел, — жалостливым чужим голосом говорила дворничиха, — бутылки по помойкам собирать, есть ему не дают будто. А все она, водка эта самая...

Старик будто не слышал.

Он вышел из комнаты, поднялся по лестнице, отворил дверь на улицу.

IV

Был вечер; в лужах плавал свет далеких красных абажуров.

— ... А вот прилетит какой червяк космический, будет порхать с цветка на цветок и не поймет, чьими страданиями это его порхание покупается. Знать не будет, что кому-то руки заламывают, и в пах ногой, ногой. Не увидит он, кто свободу ему покупает...

В сквере старик опустился на лавочку и расстелил на коленях газету.

— Вечер добрый, — услышал он вкрадчивый голос. И вздрогнул.

Перед ним стоял человек со щеглом. Клетку он держал под мышкой.

— ... Вот, погулять с ним вышли.

Старик протянул ему хлеб.

— Покушайте. И ее покормите. Птица — она ведь в клетке. Ей, птице, только хлеб и нужен...

— Спасибо, мы ужинали сегодня. Правда?

Вопрос был обращен к птице. Щегол ничего не ответил.

— А я поем, — сказал старик. — С утра не дали мне поесть. — Он откусил хлеб и медленно пережевывал его.

— Я слышал, вы синичку продаете, — сказал он чуть погодя.

— Не синица это. Щегол — птаха божья.

— В клетках все птицы — синицы, — сказал старик.

— Да-да, — закивал человек со щеглом. — Еще пословица есть такая — синица в руках лучше, чем журавль в небе...

— Не знает никто — кому и где лучше. — Старик, наверное, не расслышал. — Синице, думаете, в руках лучше, чем журавлю там?

— Иметь синицу лучше, — тихо ответил человек со щеглом.

— Зачем продавать тогда?

— Не знаю... Я ведь за просто так продаю.

— И покупают?

— Нет, не покупают. Для всех «просто так» — слишком дорого.

— А вы за пять рублей попробуйте.

— Тогда купят, — сказал человек со щеглом. — За пять рублей купят. Просто так никто не берет, а за пять рублей пожалуйста.

— Ну так что ж?

— А я не хочу продавать. Моя она, птичка-то. И ей со мной хорошо, гуляем вот...

Ближний круг

Старик молчал. Он аккуратно собирал крошки с колен. Собрал, протянул их птице. Щегол забился в угол клетки. Старик положил крошки в рот.

— А вот бутылка, — сказал он неожиданно, достав из кармана пустую четвертинку. — Рассказывал мне кто-то, очень давно, про кладбищенского сторожа — знаете?

— Что-то не слышал.

— Из каждой свежей могилы сторож брал щепоть земли. Он запечатывал землю в бутылки, потом выезжал на лодке далеко в море, где нет людей, совсем никого, и выбрасывал бутылки в воду...

Старик замолчал. Человек со щеглом молчал тоже.

Щегол прыгнул в клетку, ударился о сетку и уселся на жердочке, пугливо озираясь.

— ... А потом из бутылок выходили души. И все были ему родные. И не могли обидеть друг друга... Много родных у него было.

— Души, значит. Души — они самые благодарные. Да только здесь-то их нет. Где они — там что ли? — И он показал на небо. Небо было темным и пустым.

— Да и здесь они где-то быть должны. Где только не узнать. Души — они благодарные, верно. И справедливые. И свободные...

Тут голос старика оборвался.

— Вот вы слушаете меня, — прошептал он, — и я боюсь говорить. Может, я чего не так скажу. Не так, как положено...

— Да вы меня не бойтесь, — сказал человек со щеглом, — меня можно не бояться. — И он отвернулся.

— Фью-фью, — сказал он потом, — фью-фью...

КАК ДЕЛА, КИСУЛЯ

В Москве, в доме десять по улице Воровского (вход под арку), на первом этаже в коммунальной квартире, в маленькой комнате, где стоит запах одеколона «Милый друг», трепещут огненные пионы на занавесках, на стенах висят репродукции Дали, несколько мужских портретов, цирковая афиша с наискось написанными автографами и большое фото ансамбля «Холидей он айс», запечатленного у памятника Пушкину, живет бальзаковского возраста тетушка Матильда с неопределенной породы песиком Тони, которого он упорно считает спаниелем. Каждый вечер тетушка Матильда достает пеструю рубашку с кружевными манжетами, подводит глаза, пудрится, надевает парик «плэйбой», прицепляет поводок к ошейнику Тони, и они отправляются на проспект. Они доходят до кафе «Ивушка», останавливаются неподалеку от троллейбусной остановки, и, пока Тони обнюхивает край мостовой, тетушка Матильда беспокойно взглядывается в проходящие мимо троллейбусы. Так он может стоять долго, очень долго, потому что дел никаких у него больше нет. Мимо за стеклами проплывают лица; люди глазеют на тетушку Матильду, но он не обращает на них внимания — только одно лицо ждет он увидеть...

Он много знает: взлеты и падения, курорты и сибирские переделки, радости, обиды, минуты отчаяния, тошнотворный запах газа в пустой квартире, популярность, даже своеобразную славу, цветы, допросы и любовь, — много любви, море любви, — любовь самозабвенную, безумную, страстную и грубую, плотскую, чувст-

венную. Здесь он любил ум, складку презрительного рта, слова, манеру говорить, интонации, жесты, милые привычки, там — силу, будоражащий запах пота и неутолимые требования любви еще и еще...

... — Ты слышишь, Тони, — говорит тетушка Матильда, и улыбка появляется на его лице, — Тони, это он.

На лице тетушки Матильды написана нежность. Он машет рукой, привстает на цыпочки — равнодушные люди смотрят на него из троллейбуса, а то, одно, любимое смазливое лицо, лицо с кривящимися в самоуверенной усмешке губами проплывает мимо.

— Ты слышишь, Тони...

Это лицо любит тетушка Матильда — усики над полными красными губами. Тетушка Матильда любит вьющиеся волосы, родинку на паху, грубые руки, жадный секс, вульгарные манеры и привычку бросать окурки на пол...

Всю жизнь он любил таясь. Страшась смешков за спиной, наглых выходок, пошлых улыбок. Панель, люкс в «Национале», госдачи, общественные уборные, нары и парковые скамейки, кулисы цирка и подвалы художников — везде и всегда отдавал он себя с оглядкой, второпях, беспокойно.

Он никогда не мучился своей любовью — он считал ее прекрасной. Женщины — это осталось с детства — вызывали в нем страх и отвращение. Позднее, приглядываясь к ним, он видел только лицемерие в любви, откровенную жадность, отсутствие простоты в их чувствах, нечистоплотность в отношениях. Он так глубоко презирал их всех: дешевых проституток и дорогих, «порядочных» женщин, — что не давал себе труда показывать это.

— Как дела, милочка? Как жизнь, ягодка? Какую кофточку ты отхватил! Бог мой, да ты все хорошеешь. Привет, петушок, все отбиваешь наших кадров!..

А он отвечает, он улыбается.

Он помнит все, что пережил когда-то, и ни о чем не жалеет.

Как важно сохранить все в тайне. Ты же понимаешь, при том

положении, которое я занимаю... Угрозы, сжатые кулаки, потом слезы — дерьмо. Лысеющая голова в узком просвете, взгляды из-под дверной цепочки. У того милиционера, что идет справа, на руке рыжие волосы, а цветы остались лежать на подоконнике в подъезде.

— Попался, голубчик, попался, плутишка, — ласковая гнусавая скороговорка за спиной.

— За что?

Здоровенные кретины двумя ударами превращают рот в сладкое месиво. А швед, наверное, еще не проснулся в своем номере в «Метрополе». По утрам он старательно размахивает руками. У него атласные плечи, он смеется беззаботно и просто. Здесь: бетонный коридор и свет в лицо на допросах. Чувство такое, что губ больше нет — нечем шепнуть: о боже!

На нарах — очередь в караульной — удары сапог, плевков, шлепнувшийся рядом с лицом...

... А мальчику только двадцать один. Усики отпустил впервые. Он совершенно неотесан и груб, бедняга. Сначала он не знал, как это делается: раскрыл рот, вспотел, глотал слюну — кадык так и ходил у него вверх-вниз. А потом застонал: больно и приятно ему было, должно быть, и остро очень. Понравилось — много ли надо.

Потом мальчик изменился, а думал: мир стал добрее к нему. Его любят впервые, и он научился улыбаться вот так, кривя губы. Бедный, у него грубые руки, не знают, что ищут, все шарят, шарят, лапают. Подавать бы по утрам кофе дурню в постель, а вечером — идти рядом.

Тетушка Матильда стоит на остановке, смотрит на милое дурашливое лицо: он так горд — водит троллейбус. Сидит впереди и покрикивает на пассажиров во время посадки. Вот заметил, скривил губы, делает вид, что не замечает, — бог с ним.

— Тони, он придет? Ждать?

Праздный вопрос — все равно ждать, даже если и не придет... Сейчас вечер. Горит торшер. Пионы на занавесках, как целующи-

Ближний круг

еся рты, полные крови и боли, не чувствующие губ. Свет падает в лицо, а за ним в темноте чьи-то глаза и усмешка — педерасты из американского балета на льду сладенько улыбаются с фото.

— Спишь, Тони?

— Тони не спит.

— Он придет?

— Тони не знает.

— Будем ложиться?

Тони уже улегся. «У спаниелей не бывает таких длинных хвостов», — с грустью думает тетушка Матильда и продолжает считать Тони спаниелем...

Он приходит неожиданно. Неловко усаживается в кресло. Деланно смеется. Закуривает — руки дрожат. Как бы кто не увидел! Как бы кто не узнал! Не пронюхал, не сболтнул, не накапал, не настучал! Ведь стыдно, неловко, боязно, но пришел... Тетушка Матильда делает ему приятно. Он как с цепи сорвется: быстрее, быстрее, а руки судорожно хватают воздух. Потом второпях застегивает штаны.

В стену стучат: двенадцать уже, скоты, милицию вызовем. Он уходит спутулившись, вобрав голову в плечи. Хлопнула дверь, в комнате остался запах его ног. За стенами — шепотки. Их не слышно, но тетушка Матильда ощущает их физически, как привычное бремя...

Так и живет тетушка Матильда — хуже ли, спокойней ли, чем мы с вами?

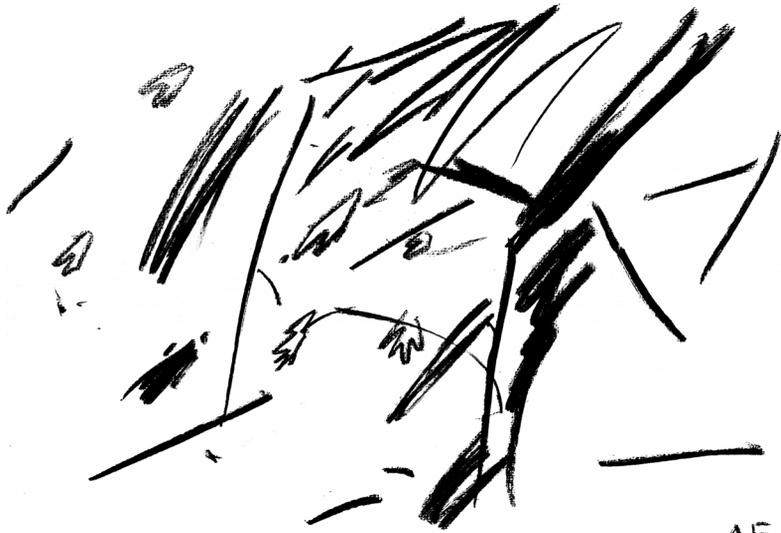
Каждый вечер он надевает пеструю рубашку, и они с Тони отправляются на проспект.

Сегодня в городе душно, значит, должен быть дождь. Они стоят у остановки. За стеклами троллейбусов смятые лица. Возле кафе знакомая блядь ждет клиента.

— Ха-ха, тетушка Матильда, пополнел, педик, а ведь ты стареешь. Кисуля, как дела?

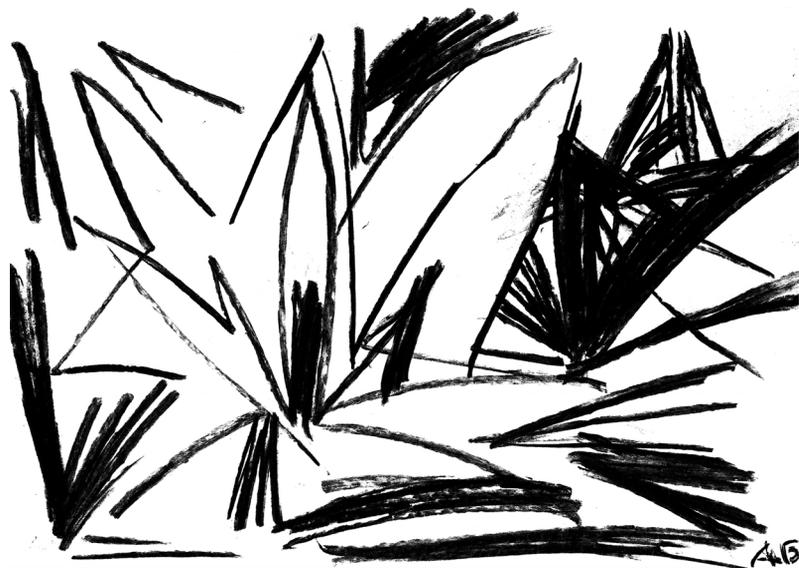


△5



AB.



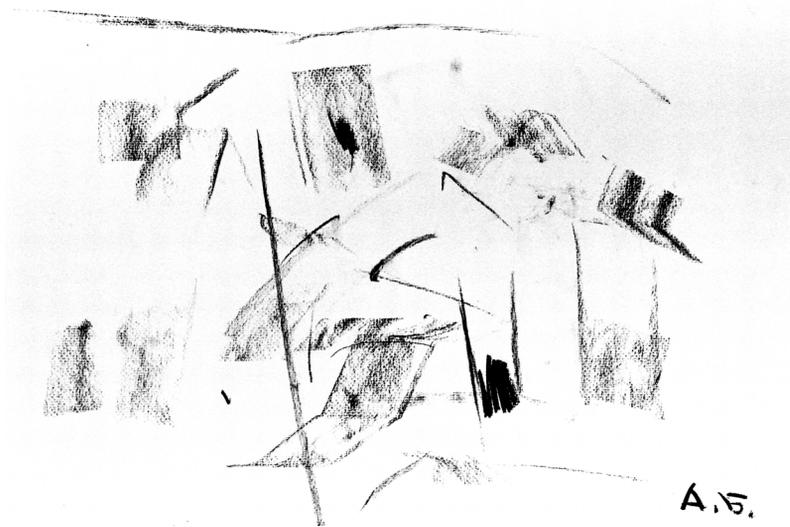






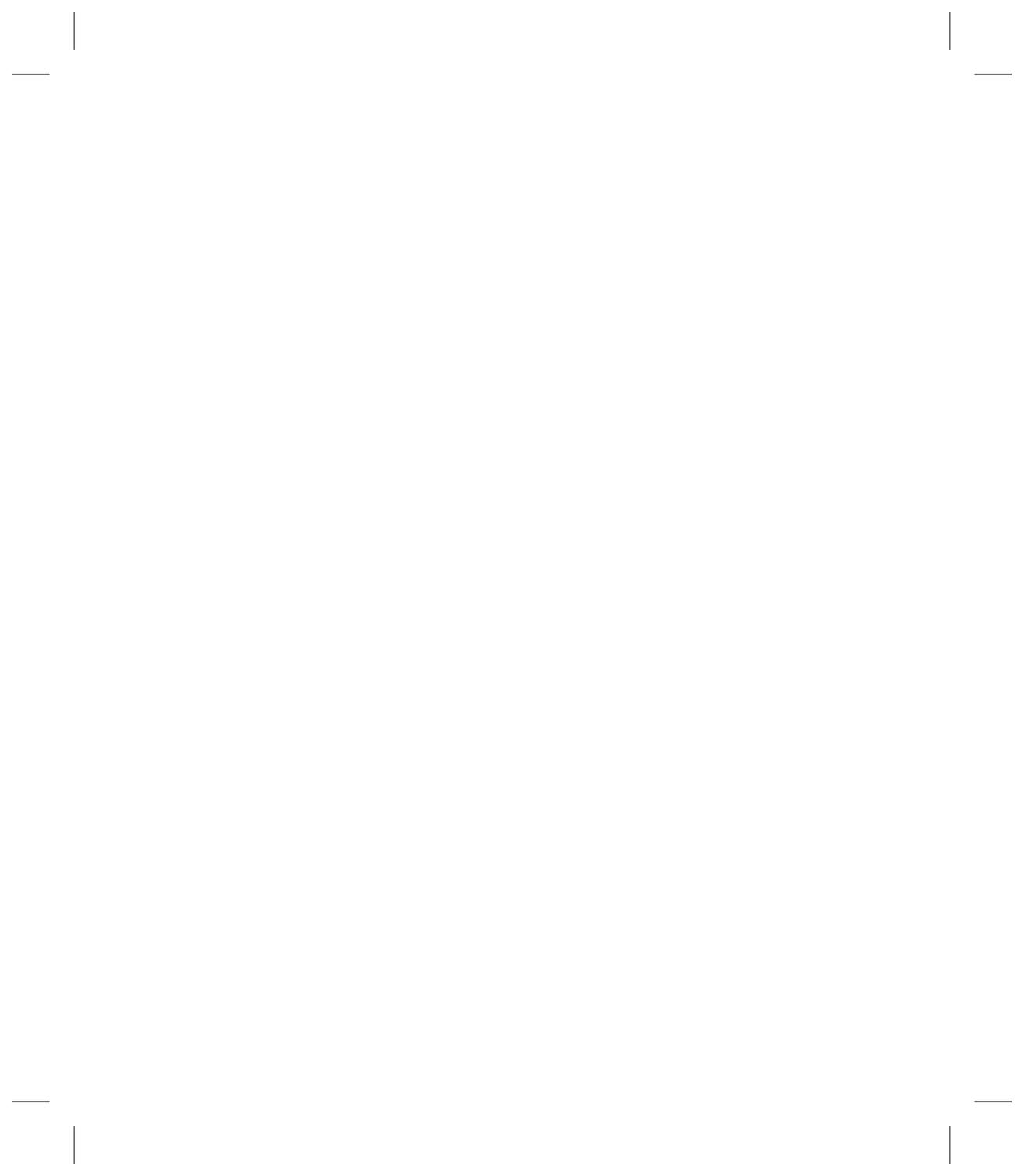
45.





Из цикла
«Запретная зона»
(1974 – 1976)





ПРЕЗЕНТ

Тем из вас, кто робок в любви

Случилось так, только собрался мой приятель жениться, как привез ему дядя по материнской линии из Лондона удивительный презерватив. Получив подарок, приятель невесте ничего не сказал, пошуршал целлофаном, сувенир разворачивая, а развернув — глазам своим не поверил. Долго проверял он презент нарастя и на ощупь, смотрел на просвет и нюхал, а потом обзвонил нас, хвастаясь, и приглашал смотреть.

Я зашел к нему после работы. Не поздоровавшись толком, он увлек меня за лацкан к секретеру, щелкнул замочком:

— Вот он!

Презерватив и впрямь был баснословен.

Легчайшего веса и тонюсенький, прочности неимоверной, был он шелковист, безразмерен и маскировочно-телесного цвета. Но и это не все. В то время как наши отечественные изделия бесхитростны, словно воздушные шарики, зарубежный их собрат не имел вовсе крепежного ободка, видно рассчитан был обливаться, как лайковая перчатка, и обладал секретом. Из пористой резины, легкой, мягкой, как бы дышащей, на конце его была присовокуплена к самому чулку еще и пятисантиметровая шишечка. На глаз ее было и не заметить, на ощупь, верно, не определить, так что был это не презерватив, а как бы иллюзия и мечта, не менее того.

— Ему сносу не будет, — заявил приятель с напором. Только тут я разглядел как ново выглядит и он сам, и его жилище. Повсюду в комнате были признаки будто сборов в дорогу. Справочники по сопромату, книги во вакуумным приборам, брошюра по технике безопасности и логарифмическая линейка — все было сринуту со стола, разбросано и валялось по углам. На столешнице оставался лишь толстый словарь Мюллера и глянцевая инструкция на четырех языках.

— Я перевел до середины, — сказал приятель негромко, — там написано, что это последнее слово. Там сказано, что он — абсолютно универсален, я дословно привожу.

И тон его, и лицо настораживали.

Был он очень трезв, бордовые жилки под глазами и на переносице исчезли вовсе, необычно с вызовом свеж.

— Сегодня первая примерка, — пояснил он, уловив мой встревоженный взгляд, — в девятнадцать ноль-ноль...

Через неделю я застал его лежащим в мятых брюках прямо на скомканных простынях, всклокоченным, но блаженно довольным.

— Старик, — произнес он мечтательно, — ты не поверишь, я только теперь начал жить.

— У тебя была Лена? — спросил я осторожно, на всякий случай.

Леной звали его невесту. Он стал близок с ней в день выпускного бала в школе, и они были вместе все студенческие годы.

— Лена? — вскричал он, едва услышав мой вопрос, — кто такая Лена! — И он посмотрел на меня диковато. — Слушай, я его стираю.

— Кого? — переспросил я ошарашенно.

— Презерватив. Милый мой, я стираю его в порошке «Лотос».

Он заломил пальцы и заговорил горячечно:

— Ты не представляешь, что это за вещь. Он сохнет в чет-

верть часа, эластичности не теряет, не дубеет, не линяет, не липнет и полностью гарантирует.

— От чего? — спросил я тупо.

— Как — от чего? Не от ОРЗ, конечно. Милый, я ничего не боюсь, — закричал он вдруг и сделал неожиданную «березку». Он стоял на лопатках, выгнув торс, весь потный и красный, будто его душили. Ноги его в давно не стиранных носках выписывали кренделя по обоям, и на стене оставались неверные жирные полосы. Когда я выходил, он прокричал мне в спину:

— Если бы я не знал, что он фабричного производства, я сказал бы, что это индивидуальный пошив!

В подъезде я столкнулся с несказанно тощей девицей, на измалеванном лице которой прочел лишь презрение. Она вышла из лифта и позвонила в его дверь. Даже по тому, как двигала она ягодицами, было ясно, что есть в ее жизни нечто, что делает ее положение много устойчивее, чем у других женщин.

Еще через неделю я позвонил ему.

Он снял трубку и крикнул в нее хрипло:

— Ждите.

Я ждал. В трубке слышались отдаленные звуки борьбы. Наконец, его голос официально и вместе как-то влажно произнес:

— Слушаю.

— Юра, — позвал я его, — ты слышишь меня?

— Слышу, — произнес он отдаленно и как бы в задумчивости.

— Я хорошо тебя слышу.

— Что с тобой?

— Я прекрасно слышу тебя, — повторил он невпопад, будто занимаясь еще чем-то.

Вдруг послышался треск и вскрик.

Какое-то время в трубке были лишь далекие вздохи. Потом связь оборвалась.

Я сидел у него аппарата и вспоминал его прежним. Он был тих и романтичен в общие наши годы, весь в юношеских

прыщах от раннего созревания и очень честный. Мы сидели на соседних партах, мы доказывали одни и те же тригонометрические тождества. Подчас на уроках он робко чертил в тетрадках зыбкие какие-то профили. Как-то учитель черчения, отложив рейсшину, заглянул через его плечо.

— И это теперь называется ортогональной проекцией? — только и спросил учитель.

Зачастую прогуливая уроки, мы бродили аллеями Нескучного сада. Как-нибудь поздним октябрём по палой листве. Он сокрушался:

— Отчего нам всегда хочется, а им — никогда...

Лена позвонила мне за полночь.

— Что с ним? — спросила она.

— Поверь, я не знаю.

— С ним что-то страшное. Мне в голову приходят дикие мысли. Может быть, он болен, но не говорит. Может быть, он боится связать меня. Это возможно, ты же знаешь, какой он жутко благородный.

— Я знаю, — согласился я, — вернее — ничего не знаю.

— От прячется от меня. По телефону бубнит что-то несвязное. Приходить к себе запрещает, на работе взял отпуск за свой счет... Не знаю что делать, я не знаю что предпринять. Я взяла билеты на «Лебединое озеро».

— Что?

— Во Дворец съездов. Ты же знаешь, он всегда так любил балет.

Балет, я думаю, он терпеть не мог. Но, видно, говорил ей обратное как-то, а она запомнила. Ведь то, во что им хочется поверить, женщины схватывают прямо-таки на лету.

— Ты его друг, — сказала она, наконец. — Ты не можешь, не имеешь права сидеть сложа руки. Ты должен, должен, должен... — и она заплакала.

— Я пойду к нему, — пообещал я твердо, внезапно решившись. — Я отниму, проткну.

— Проткни, пожалуйста, — попросила она жалобно. — То есть о чем ты?

Но я повесил трубку.

У его подъезда я долго стоял в раздумье — с чего начать? Можно было говорить о его здоровье, о его диссертации, о его женитьбе.

Кто-то тронул меня за рукав. Это была женщина средних лет, в очках, с хозяйственной сумкой, из которой выглядывали парниковые огурцы, и похожая на учительницу начальных классов: — Вы к нему? — зябким каким-то голосом тихонько осведомилась она. — Я буду за вами?

Я взглянул на нее с негодованием и быстро вошел в подъезд. На лестнице, на подоконниках сидели женщины разных лет. Одна была даже с детской коляской. Две девицы разгадывали кроссворд в «Вечерней Москве». На его двери висела косо записка, написанная коряво и с дрожью: без вызова не входить.

Я долго ждал, пока мне открывали. Сперва доносилось из-за двери долгое надрывное кашляние, шарканье, вздохи. Потом голос приятеля крикнул:

— Еще только без четверти два, перерыв еще, куда вы претесь!

Но я звонил настойчиво, дверь приоткрылась. Он подозрительно уставился на меня, не снимая цепочки. — Дружище, дружище, — вдруг повело в сторону его челюсть, а на глазах блеснули слезы. — Милый мой...

За мной дверь с силой захлопнулась, потому что кто-то бросился в квартиру следом, успев закинуть в щель пакет с отрезом какого-то материала, завернутого в фирменную бумагу универсама «Москва».

— Милый! — вздрагивал он, хлюпая носом, — ты не поверишь: они приводят подруг и сестер, они идут и днем и ночью. Что делать, я не знаю — что мне делать.

— Сядь, — попросил я его мягко. На веревке, протянутой из угла в угол болтался прищепленный презерватив. Приятель бессильно опустил на диван, безвольно свесив кисти рук. Он постарел, седина пробивалась в его висках, плечи то и дело вздрагивали от глубокого кашля.

— Все еще можно поправить. Лена взяла билеты в балет, ты пойдешь с ней на «Лебединое озеро».

— Я не смогу, — тихо выдохнул он.

— Почему?

— Я не смогу, мне не в чем, у меня нет больше сил...

— Соберись, — приказал я, — подтянись, мужайся.

— А ты думаешь, я еще смогу пойти в театр?

— Что за глупости?

— Я смогу еще пойти с женщиной в театр, — посмотрел он на меня снизу невыразимо жалобно, но с блеснувшей вдруг в глазах надеждой. — И потом в антракте — пива в буфете? А после, после по вечерним улицам...

— Конечно.

Вдруг он привстал и взглянул на меня ослепленно.

— Я знаю, — как в лихорадке затвердил он, — я знаю, что сделать. Я знаю, я пойду на балет хоть завтра...

После спектакля, проводив Лену, он заехал ко мне и мы распили бутылочку. Я сразу заметил не то грусть, не то мудрость в его далеких каких-то глазах. — Женюсь, старик, поздравь, — сказал он бесцветно, но с облегчением.

На нем был новый костюм из дакрона. Чтобы отвлечь его, я спросил:

— Откуда такой? Вроде в отпуске был за свой счет...

— В том-то и дело, — покачал головой он и с болью вздохнул, — в том-то и дело. Есть, понимаешь, у меня на работе еврей один. Так он месяц за мной ходил, все выпрашивал: ты молодой, говорит, что тебе лишних пять сантиметров, а мне надо. Ну вот — я и поменялся...

Презент

Он задумчиво смотрел в одну точку. — Знаешь, — сказал он, — чувство такое, будто после операции. И рад, что выздоровел, но и то, что вырезали, жалко. Еврей-то обманул меня, конечно, костюм надеванный, — добавил он. И вдруг глянул на меня лукаво. — Так ведь и хуй не новый.

ПОЧЕКАЙ

Семью эту я любил.

И отца, и мать, и дочь.

Эва была долговяза, на полголовы выше меня, в отца, с узкими длинными губами и странным, прыгающим каким-то смехом, но непосредственная вера ее в то, что она будет счастлива, так светилась в лице ее и в глазах, маленьких и чересчур светлых для ее длинного лица, что не могла не подкупать.

Помню, она ввела меня в квартиру впервые за руку и представила родителям:

— Это мой друг.

— Очень рады, — сказали они разом на неплохом русском языке.

Крепкое металлическое рукопожатие мигом очертило для меня всю меру расположенности ко мне пана Станислава, а жена его улыбалась чудесно, стоя в дверях кухни. Я подошел к ручке. Я уже дотронулся губами до ее мягкой и пахнущей чем-то мягким кожи, как откуда-то из-под ног пана выскочил черный пудель, задрал черную негритянскую голову и то ли гавкнул, то ли крикнул что-то вроде «пше-прошу», но не слишком приветливо, как мне показалось.

Ноги у пани были чудесны. Было ей глубоко за сорок, но пестренький халат кончался где-то над коленями, и ноги двадцатилетней девушки, стройные, слегка кривоватые по-юношески, с неотразимой полнотой в икрах, с тонкими щиколотками, без

намека на вспухшие вены или на отечность, жили будто сами по себе, будто даже мечтали о чем-то и приглашали помечтать...

Дивно уютные вечера проводил я в их доме. Эва ставила пластинки, варила кофе, зеленоватые обои ее комнаты сулили нам безопасность, и она любила садиться ко мне на колени — если употребимо такое выражение при разности наших габаритов, — скажем, искать точку опоры на моих коленях и целоваться, вздрагивая и как-то потягиваясь всем своим длинным телом, целоваться мокрыми и тугими губами, изредка на миг будто жала соленым непослушным языком. Какая-то беспомощная страсть была в изгибах ее долгого тела, и неизменно мне казалось, что чем дольше целуется она, тем больше ей хочется плакать.

Пан Станислав учил меня играть в бридж. Я оказался бестолков, но семья великодушно мне прощала это, учитывая, что я русский, а пан Станислав называл даже «европейчиком» за то, очевидно, что я, вопреки всем его представлениям, подхожу к дамам к ручке, за столом не валю салат на брюки, не ем руками, вилку держу в левой руке, и даже рассказал как-то за обедом соленый анекдот, после чего пан хватил в рот ложку русской горчицы — пани выкладывала горчицу из банок в глубокую тарелку — и покраснел, аплодируя веками, давясь, плача, а пани слегка тронула своей ножкой мою ногу и ласково покачала головой.

Помню их гостиную, круглый стол, мы сидим вчетвером за картами, на дворе и осень, и дождь, и холодно, и темно, и грязно. А здесь — тепло, и теплая польская речь согревает мое славянское сердце, и пан Станислав нет-нет да расскажет, как участвовал когда-то в ралли в Монте-Карло и в Армии Крайовой; на столе — зеленоватая водка «Выборова», вечер льется сам собой, и пудель изредка гавкает из-под стола, не очень, впрочем, дружелюбно, « пше-прошу », а что это значит, черт его знает, а мне хорошо даже оттого, что я не понимаю по-польски, а только вслушиваюсь в эти бесчисленные « бже » и « пше ». Изредка чувствую я в своей руке мокрую ладошку Эвы, будто тыкается

мне в руку зверек мокрой мордочкой. Ладочка шевелится, пани не замечает ничего, а все произносит «гм-гм», рассматривая свои карты, а пани Ирена легко улыбается — что-то горькое и светлое вместе в ее едва приметно шевельнувшемся рте, — и я провожу указательным пальцем по тыльной стороне Эвиной ладони, и она вдруг вздрагивает, а пани опускает глаза.

Бывали и приемы, с шведским столом непременно, с светло-коричневым бренди, а то и с темным, черным, почти отличным коньяком, с тартинками с икрой, с бог весть чем еще на широких круглых блюдах. Приглашенные бывали разношерстны. Всех объединяло название, данное им великодушным паном, — «русские друзья», и были здесь и мастер спорта по плаванию, длинный и страшно неуклюжий на суше, с прыщавой невестой-перворазрядницей, две девушки из иняза, одна из которых была все же, скорее всего, просто от «Интуриста», краснощекий блондин в американских джинсах из университета им. Патриса Лумумбы, немного походивший на ярмарочного Петрушку и объяснивший мне, что направление в университет дал ему райком комсомола. Затесался на подобный раут как-то и бог весть откуда взявшийся марокканец, с толстыми губами, яркими, почти сиреневыми, с толстым немым лицом и весь в чем-то дальтоническом, испещренном разноцветными треугольниками, квадратами, кругами, и довольно наглый.

Многие думают, что если человек марокканец, то непременно должна быть на нем чалма или что-нибудь в этом роде. Это неверно. Был он довольно европейского вида, весь черный и крепкий, но все равно, казалось мне, сейчас выхватит он из-за пазухи большой оранжевый апельсин и крикнет: «Марок, ага?» И я взглядывался в него с подозрением.

Впрочем, все здесь были по-европейски. Каждый брал себе тартинку, выпивал рюмку, тут пудель кричал « пше-прошу », все разом проглатывали свои тартинки и принимались жевать.

Марокканец ухаживал за Эвой.

Глядя на них, я замечал некую даже благосклонность в том, как клонила голову Эва, прислушиваясь к его речам, а он говорил что-то тихо, невнятно, должно быть, но увлеченно, — и она слушала его.

На кухне я принялся помогать пани резать колбасу. Доносились музыка из гостиной, голоса и смех, потом врвался в этот гул низкий голос пана Станислава, все смеялись, и вновь делалась слышна музыка.

Наши руки встретились возле тарелки. Наши глаза встретились, ища друг в друге защиты. Все это было неожиданно, но мы с ней оказались будто выплеснуты из толпы веселых гостей: я — задетый удалый марокканца, она — необходимостью все что-то убирать, подавать, резать.

Так и стояли мы рядом, молча, потом руки разжались, я взял тарелку, и что-то тихое тронуло мое сердце, и я пошел туда, к ним в гостиную, но то, тихое, не отпускало, и через минуту мы танцевали с пани что-то грустное и чуть разухабистое, напоминающее танго. Ее дыхание делалось чаще, если рука оказывалась напряжена, мягкая талия подавалась ко мне легко и просто, выпуклый живот уже вплотную уперся в мой живот, а ее грудь, густая и полная, лежала на моем пиджаке.

— А что, если бы я убрала тогда руку? — спросила она еще через минуту, и я понял, что нечто хлопнулось с тихим шелестом у меня за спиной. — Что? — повторила она настойчиво.

— Пани Ирена, — сказал я с чувством, — я будто почувствовал... или как бы это объяснить...

— Не надо, — невыразимо мягко сказала она, — не надо объяснить, мой кавалер, бардзо добже, как это по-русски, ол райт. — Она засмеялась так, будто было ей двадцать лет.

Остаток вечера я чувствовал, что в меня влюблены. Приглашение, которое я получил на завтрашнее утро, было неожиданно и прекрасно, какая-то окрыленность посещала меня при взгляде на ноги пани и тихая грусть — при взгляде на ноги Эвы.

«Пусть им будет хорошо», — думал я, глядя на марокканца, думал несколько снисходительно и покойно...

Яркий день был погашен зелеными шторами. Сначала мы присели на диван.

— Дай я посмотрю на тебя, — шепнула она и повернула мое лицо к свету. — Какой ты прекрасный.

— Прекрасны вы, пани Ирена.

— Ты для меня... произведение искусства, — шептала она с неподражаемым акцентом.

— Вы моя тайна, — шептал я, — вы — фея, добрая фея...

Потом она положила меня в постель.

— Сними все, — попросила она, и я снял все.

— Вот так, — сказала она, кладя мою руку себе на живот.

— Так, — согласился я шепотом.

Постепенно она переходила на польский. И вот ее грудь стала подниматься неровно, рот приоткрылся.

— Так, так, — цокала она языком, — почекай...

Я уже не понимал ее. В ее призыве чудилась мне даже легкая укоризна, и я старался исправить.

— Почекай, прошу, — уже молила она, но тут взявшийся откуда-то пудель крикнул « пше-прошу », и неостановимый, неизбежный конец захлестнул меня. — Почекай, — успел услышать я и с мыслью, что « чекал » как надо, уронил голову ей на грудь.

Когда на прощание она угощала меня коньяком пана Станислава, в движениях ее рук чудилась мне какая-то нервозность.

— Что бы ты сказал, если бы сейчас пришел мой муж? — вдруг спросила она меня ревниво.

Я не нашелся.

— Ты сказал бы, что ты меня любишь, — настойчиво и укоризненно произнесла она на этот раз почти без акцента...

Впрочем, ничего не изменилось. По вечерам мы все так же играли в бридж, а зима шла, трещали морозные стекла, уже метели мели под окнами, но в доме было тепло. На раутах неиз-

менный теперь марокканец кивал мне приветливо головой, вот только по утрам, через день, ложился я в широкую кровать и слушал пьянящее меня бесконечное «почекай», становившееся день ото дня все требовательнее и даже гневнее.

Рандеву становились реже.

— Почекай, — умоляла, просила, требовала пани Ирена, и я чекал и чекал.

Зима шла дальше, а я уже лишь раз в неделю приходил за зеленые шторы. По вечерам я заставлял марокканца — его научили играть в бридж, он хищно скалил белые зубы и округлял свои марокканские глаза, беря взятки, но пан по-прежнему улыбался мне. Настораживало лишь то, что марокканец все приветливее кивал мне головой, пудель кричал уже без прежней неприязни «пше-прошу» и позволял чесать за ухом, пока мой арабский друг истово резался в карты.

По-прежнему устраивались и рауты. К мастеру спорта по плаванию прибавился теперь сценарист со студии «Научфильм»; он пил катастрофическое количество водки «Выборовой», говорил, что у него идут сразу три сценария, обещал навещать к хозяевам в Варшаву, но как-то я с грустью заметил, что он потихоньку стащил со стола бутерброд с рыбой и сунул себе в портфель.

Пани сделалась томна со мной. Что-то изменилось в ней неувидимо, и руки ее пахли уже иначе — рождественскими мандаринами и миндальным кремом, отчетливо, но не так мягко. Изменилась и Эва. Как-то она села рядом со мной и наивно спросила:

— Читал ты Сенкевича?

Я не успел ответить, я следил за пани Иреной.

Пани пошла на кухню подрезать колбасы. Тут я заметил, что марокканец собирает со стола грязные тарелки. С бьющимся сердцем я встал, прошел в ванную и заперся на задвижку. Глухие голоса раздавались из гостиной, музыка и смех. Я нервно попра-

Ближний круг

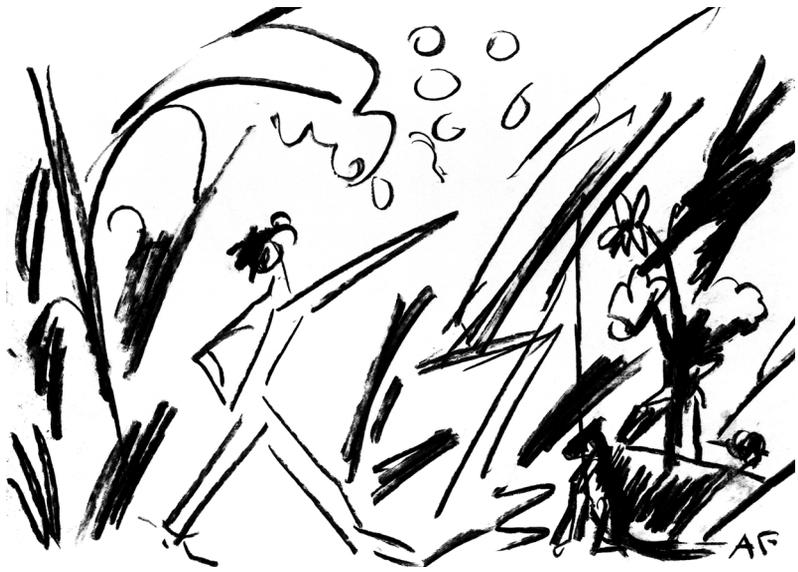
вил прическу и взглянул в зеркало. Я был бледен. Из кухни донесся до меня слабый мерный стук ножа. Потом звякнули тарелки. Я припал к микроскопической щелке в двери. Марокканец загоразживал мне пани. Спина его зловеще шевелилась. Слабый вздох вдруг послышался мне — марокканец целовал шею пани Ирены. Теперь он стоял в профиль ко мне, и его толстые губы прилипали к ее коже.

— Ох, — снова донеслось до меня, — почекай.

Пораженный, я выпрямился, ничего не соображая.

— Почекай, — повторила она, — не сейчас, почекай до завтра.

Я помыл руки, вытер их полотенцем, еще раз поправил прическу и прошел в комнату. Эва сидела одна. Я сел рядом. Ее ладошка была влажна, она вздрогнула. Тут пан Станислав что-то крикнул громко, вошла пани, неся тарелку с колбасой, за ней марокканец. Все смеялись, и мы с Эвой засмеялись вместе со всеми.

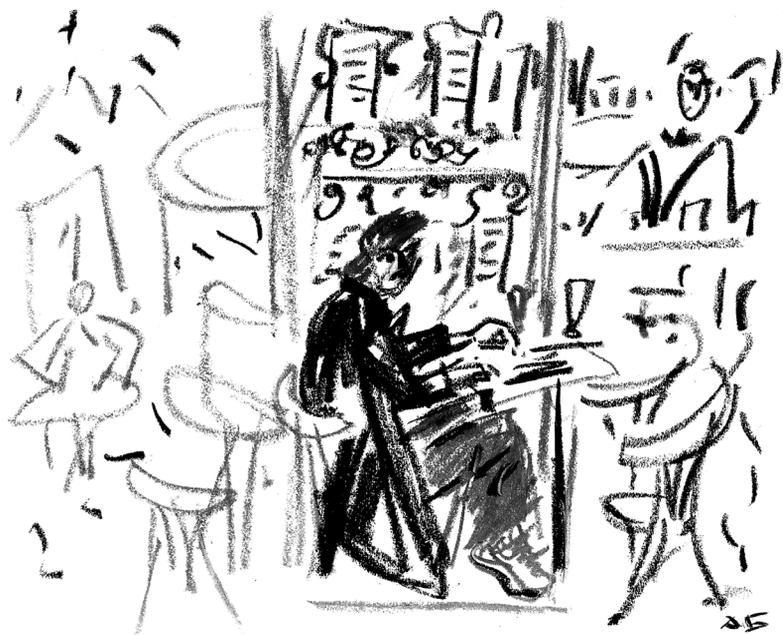












Из книги
«Ранние берега»
(1977)





ПУСТЕЕТ ВОЗДУХ

Утром — не было девяти — сидел и писал. «Милый мой! — писал он. — Как странно — странно и дивно — мы полюбили друг друга. Впрочем, за тебя не решусь говорить, хоть и смеешься всякий раз мне навстречу, бежишь и смеешься, — так что за себя. Подумать только, каких-нибудь полгода назад мы и знать друг о друге не знали, я представить себе не мог, что ты уже существуешь...» Сидел и писал в неубранной комнате: разворошена постель, остыла печка, засохли цветы в вазе — сухие лепестки в складках желтоватой скатерти. Несмелый блик перебирался по кракелюрам на подоконнике, за отдернутой занавеской стояли сосны.

В правом верхнем углу листа вывел цифру один, хоть и не надеялся, что письмо выйдет длинно. И продолжал: «Казалось, когда полюбили друг друга — все на нашей стороне, а нет: не вольны мы, брат, выбрать друг друга, не положено так, не заведено, не от нас все зависит, от воли третьего...».

Карандаш ровно ширкал по бумаге, но тут раскрошился; неточенный кончик был горек на вкус. Перечел написанное: вышло плохо и все не то. Слова словно нарочно пригнаны, а не невзначай вылились. Тербя карандаш губами и морщась, заметил — в соснах опустел угол соседней дачи: исчезла циновка с окна, забранного в мокрую раму.

«Ведь едва любовь окрепнет, — писал опять, — ты привыкнешь, приручишься, вырастет невидимая связь между нами — жест ли, каприз ли, разочарование, усталость или взбалмошное

желание, — и все полетит к черту, в тартарары, а в том месте, где мы поселили друг друга, окажется на сердце пустота...»

«Ведь она, — диктовал себе, да запнулся, — ведь она, твоя мать...»

Лес за окном был странен. Ни желтизны нигде, ни увяданья, а между тем — нечто безошибочно осеннее: ветви держат туман, в глубине стволов кто-то накадил густо, вьются синие клубы, колобродят блики; опушка светится стеклянно, где нет тени — сам воздух густеет и светится тоже, в тени же — лиловат. Разложенные повсюду паутины, резные, изукрашенные росой, сверкают чересчур ярко и серебряны.

Не писалось.

Перегнул листки пополам, сложил вчетверо, похлопал по карманам, ища пустой. В окне слева появился мальчишка на велосипеде, уехал в лес по траве.

Мальчишка этот носился по дачам все лето — лето напролет, — то в майке, то в бежевом плащике, видно по настоянию чужому надетом после дождя да застегнутом наспех, у горла только, полы размазывались при езде по спине, — но то летом, а теперь откуда он взялся?

Чудно: в летнем времени должно было остаться мельканье слившихся в серо-ребристый диск спиц, вихлянье нетуго затянутого колеса, звяканье кожаного кошеля, подвешенного к раме и набитого всякой всячиной. Но мальчишка, словно по недосмотру старших, проскочил во взрослое, теперешнее: грусть опустевших рам, запах мокрых хризантем, нарезанных к отъезду и до времени томящихся на веранде, горечь всамделишных раздоров, уже без привычного привкуса послеминутного согласия.

Отчего-то вспомнилось: летом, в теплынь, в солнечный разлив, кто-нибудь да бродил по яркой опушке напротив окна. Раз — женщина с девочкой, совсем крошечной, собирали землянику. Зеленый фон и там и сям разбивали бледные пятна одуванчиков, забрызгивал бисер солнечных зайчиков. Женщина нагибалась, де-

лались видны теплые начала ее груди. Ткань легкого платяца высвобождалась опущенными руками, а коли ягода пряталась слишком глубоко, приметны делались и черные издалика виноградины, окруженные темной же тенью...

Закурил. Сидел, сидел и курил, сидел, курил и ждал, но нет, никто не звал его. Уеду, — подумал раздраженно, — завтракать не буду, уеду.

Дым построил первый этаж сперва, потом, кучеряво, — второй. Уехать было никак нельзя.

Он здесь, чтобы помочь собраться, все уложить, погрузить, — о том, что этот день — последний, не думал нарочно. Уехать было нельзя, смешно было уезжать, смешно и глупо уезжать, — чтобы завтра приехать снова. Просто ей бы войти, войти и погладить его рукав. Войти и погладить и позвать завтракать. В том, что постель не застелена, чудилось теперь что-то тревожное. Табачный дым строил третий этаж, лепил башенку возле щели в раме.

Иное дело ночью.

С вечера затапливал печь: настругивал щепок, поджигал жгутом свернутую газету. Вскоре пламя выбивалось из-под поленьев, охватывало жаром березовые чурки; красные, отороченные желтоватой кисеей языки растекались, норовили улизнуть в дымоход, над ними приплясывали сиреневые искорки. Делалось потихоньку тепло. И тут начиналось: медленное круженье оранжевых отсветов, сверкающая рябь отблесков на белесой стене. Блики затевали трескучую чехарду, но тускнели; лишь теплый ровный гуд успокаивал, что печка и не думала гаснуть, и не скоро, уже посреди синего-синего поля, — шепот:

— Лежи, я сама закрою.

А там по давно знакомому, заученному в сладких ожиданиях счету: раз — будто яблоко упало, мягкий удар пяток об пол, два — поиск тапочек, возня, три шороха шагов к печке, скрип дверцы — угли должны были подернуться голубым, — дыханье плечами потянутой ткани, чугунное ворчанье заслонки наверху. Дивное,

всегда обманное, запаздывающее на мгновение возникновение под пальцами ворса ее ночной рубашки, возвращение на грудь под осторожный аккомпанемент матраса ее руки, устраивание, блаженно-зябкое, двух пар ног и снова долгое синее поле...

Не дождавшись, сам отправился на крыльцо.

Кухонька стояла от дома отдельно — дорожка небрежно присыпана песком. Митька сидел посреди дорожки на горшке, ближе, впрочем, к кухне, но и вдали от нее, издавал непрерывное: тр-р-р... За горшком тянулась прихотливая борозда. Штаны Митькины были спущены, он путался в них, пачкал в песке, ручонками сжимал воображаемый руль. Раз за разом дергаясь, елозя по земле сандалиями, толчками Митька ехал куда-то.

— Сиди как положено.

Митька заелозил еще пуще, восторженно, как щенок, взвизнул, прокричал в ответ:

— Я — уже — покакал!

— Ну-ка.

Приподнял его — тот покорно улегся мягким животом на руку, — заглянул в горшок — Митька не обманывал. Его попка от долгого сидения была обведена красным. «Ленивая, ленивая баба», — пробормотал про себя и пошел за салфетками. Вернувшись, увидел — Митька стоит без штанов, корябает под животом.

— Руки убери, — прикрикнул на него, подтер, скомкал салфетки. — Марш к маме, скажи, чтоб тебя умыла.

Шел с горшком к лесу — выносить — думал:

«Что за странная идея — писать все это. Ведь он и читать не умеет, а умел бы — не понял бы. Тьфу...»

И едва не попал под колеса велосипеда. Мальчишка сосредоточенно проехал мимо — тот же плащик, хлопающий на спине, перемазанные сандалеты. Как не надоеет!

Мальчишка иногда заезжал к ним на дачу. Терся, путался под ногами, приставал со всякой чепухой:

— А вы читали, что у тех, кто ныряет глубже чем на пятнадцать

метров, барабанные перепонки лопнуты? Я читал у Кусто.

Или:

— Знаете, раньше думали, что корабли если пропадают, так это из-за гравитационных бурь. А теперь в Америке открыли, что просто на дне океана есть другая цивилизация. Они забирают экипажи кораблей к себе — для изучения. Как вы думаете, они там на дне живые?

И никак не удавалось определить возраст мальчишки: то он представлялся маленьким, мельгешащим, как забежавшая в чужой двор собачонка, а то вдруг рос на глазах — удлинялись его ноги, делались видны волосатые подмышки, черные пучочки над углами губ. Мальчишка позволял Митьке дергать звоночек на руле, и она зачем-то болтала с ним подолгу, совала пробовать то, что готовила, как-то оказалась застигнута на его велосипеде...

— Алеша, мама сказала, чтобы ты вымыл. — Митька бежал на встречу.

— Ну, давай руку. Ленивая... ленивая...

«Алеше» Митька научился у матери. Она всегда звала так — «Лешенек» никаких слышать не хотел. А если что-то было не в порядке у них — Лешей. И эта бессмысленная сама по себе буква, вставая перед его именем, выражала в иные минуты то, на что не хватило бы у них слов, а будучи изъята в результате безжалостной вивисекции — обнажала разом какую-то безнадежную бездну.

Шли, держась за руки. Сейчас выглянет она из кухни — легонько ступит на порожек, словно выглянула не к ним, а на них между делом взглянула, — как-то особенно счастливо улыбнется, увидя их вместе шестьющими, и поневоле следы размолвки примутся бледнеть, стираться. Он нахмурился загодя, как бы сопротивляясь уже безотказности действия этого ее умиления, испытывая неловкость. Но она не вышла.

Намылил Митькины скрюченные ручонки, подтянул их под кран, заставил мыло смывать самого, тот упирался, повизгивал, Митькина курточка забрызгалась. Полотенце висело тут же и бы-

ло сухим, — видно, она только повесила.

— Теперь за стол.

Так же держась за руки, улыбаясь оба — он приготовил заранее эту бодрую улыбку, она часто их выручала, когда слов ни один не находил, служила знаком, сигналом к отбою, — но в кухне ее не оказалось,

— Где же мама?

Митька не ответил, а успел стянуть со стола печенье. Все было приготовлено к завтраку: стояли две тарелки, в них — горячие куски яичницы, посыпанные зеленью. Хлеб был нарезан.

— Сначала яичницу, печенье потом... Я не заметил, как она выходила.

Подсадил Митьку, сел сам. Долго, ничего не говоря и не протестуя, смотрел, как Митька возит кусок яичницы по тарелке. Рукава Митькины окаймились мокрым, рожица поблескивала и ходила туда-сюда, глаза озорно, лукаво косили из-под белесовато-розовых бровей... Неприятно-жесткое слово «сын», прилюдно принявшееся издевательски «ыкать», сейчас смягчилось.

Взял у Митьки вилку, стал кормить, суя кусок за куском, но Митька жевал долго, иногда впустую уже чавкая, чтобы очередной кусок оттянуть, — и болтал ногами. «Сиди как следует!» — прикрикнул, но строго не вышло, как и всегда не выходило, отчего Митька и не слушался его никогда, из хитрости лишь делая вид изредка, что боится окриков.

Паузы между кусками все затягивались, в каждой паузе на кухне отчетливо присутствовала она.

С полок — доставала что-то, встав на носки. К раковине — нагибалась, мокрой щепотью отправляя волосы со лба; в углу шуршала целлофановым пакетом, присев на корточки. Короткая кофточка сползала вверх, обнажался светлый ромбик между поясом и выбившимся краем. И этот участок то злил, то восхищал, звал его ладонь, хотел, чтоб он не выдержал, украдкой припал губами и получил взамен благодарно всплеснувший смех.

Но так не могло продолжаться и дальше — кусок за куском становилось слышнее, как за фанерной стенкой каплет из крана вода.

Кран тек все лето. Еще весной он обернул его тряпкой, скоро проржавевшей, но как следует поправить не умел, и кран продолжал течь, а они привыкли к этому, этого не замечали, они, вместе, — лишь теперь кран вновь стал слышен.

Вытер Митькины рот и щеки розовой салфеткой с маками, тот не давал, мотал головой, канючил, про печенье не забыл, получил причитающуюся за завтрак хрусткую безвкусную плитку, засунул за щеку. Пошли к дому.

Тихий туман шел от земли. Вис над самой травой, а выше — воздух растекался и прозрачнел, и это разделение воздуха и тумана делало все вокруг неестественно явным, тревожно-праздничным, как после долгой болезни. Но и в доме ее не было.

Была кровать, с которой они утром встали. Были маленькие тапочки с подмявшимися задниками — стояли у печки.

— Мама в магазин ушла, как ты думаешь?

— В магазин, — счастливо и беспечно отозвался Митька, еще печенье не дожевав, но найдя уже где-то плоскогубцы и прилежно ковыряя ими надорванные обои.

— Ну конечно. Ушла в магазин, сейчас придет, будет делать обед, а мы гулять пойдем, а?

— Не хочу гулять, — сказал Митька сосредоточенно.

— Вот те на. Это почему же?

— Не хочу, — спрятав руки за спину, наклонившись и захохотав в предвкушении возни, отвечал Митька.

— Ну и бог с тобой.

— Бог с тобой, — повторил Митька разочарованно и принялась вновь за обои.

Стал ходить по комнате туда-сюда, не зная, за что взяться, догадываясь уже, до какой степени неудобно для него это ее исчезновение, брался за одно, за другое...

Приезжал запоздно. Цветы захватывал на пересадке у туннеля, ведшего на перрон, — в то лето была уйма цветов. Выбирал придирчиво: тот букет аляповат, этот — беден, убог, третий — неестествен, а ухватывал — что под руку попало, в последнюю минуту, слыша уже электричку, перебой колес на виадукe. В вагоне все не мог букет приладить — то держал прямо, чтоб не осыпался в толчее, а то укладывал на полку, и лепестки выпархивали сквозь редкую решетку.

Та же проблема и на ходу в темноте от станции: нелепо шуршащий целлофан выбрасывал и нес цветы то перед собой, как бы уже вручая, а то зажимал в той же руке, что и портфель, — они плыли горизонтально, заставляя о себе думать.

Подходя к темному домику, волновался до стука в висках. Будто могло случиться: подкрадется в темноте, стукнет в окошко, но занавеска не дрогнет, никто не отзовется, и дверь не откроется. Но каждый раз открывалась. Цветы сейчас же в сторону, как несущественное, а голову — к нему на грудь, не порывисто, а как по ритуалу. И приходилось гадать: хорошо ли, что уже легла, а не ждала со светом бессонно; добро ли, что букет отложила без радости, будто и не для нее вез? И только не скоро объяснялось: ждала и легла, лишь выплакавшись, — думала, что не приедет; а цветы после все охаживала, оглядывала, ставила в вазу, меняла воду — до следующего приезда... Раздался отчаянный вой.

Обернулся. Личико Митьки надулось, покраснело от натуги, выл что было сил.

— Что?

— Голубцы.

Переводить не надо было, Митька всегда называл плоскогубцы голубцами, они много потешались над этим.

— Укусили?

— Да.

Улыбнулся с какой-то нежной болью.

— Давай палец, подуем.

И в том, как дул сперва на прищемленный палец, потом — по Митькиному требованию — и на соседний на всякий случай, мигом сплавилось: знание, что и она поступает именно так, стараясь унять Митькину боль, с воспоминанием, что и его мать когда-то так же дула на ушибленное. Боль чудесным образом отходила, а обиды и вовсе не оставалось никакой, коли являлся мигом человек, который и боль эту и ушиб принимал на себя — дул. То, что утешает Митьку сейчас он сам, делало малыша отчасти и им, а его — несколько Митькой, малышом, ждущим мать.

Она придет сейчас, придет теперь же, мгновенно и непременно, но знание этого не уменьшает ужаса, с каким ждешь, — ужаса любви к существу, которого нет рядом...

— А теперь нос.

Митька подсунул нос для поцелуя, всхлипывая, — от слез мокрый.

— Слушай, пойдем-ка смотреть на пожарников, а?

— На пожарников, — согласился Митька с необычной покорностью.

Здание пожарной службы стояло на полпути к магазину. Пропустить ее они никак не могли: встретились бы или до пожарки, что было всего вероятнее, или за ней, на асфальтовой дорожке, или, в крайнем случае, в березовой аллее, которая вела к самому магазину, упиралась в него.

Дышалось легко. Осень еще не началась всерьез, и прелюдия осени убеждала, что теперь не может быть неясностей и неразрешенностей, а лишь дорассказанность и правда. Ничто не увядало еще, а как бы сделалось мудрее. Было не холодно, только строго. Была тишина, ни птиц, ни людей, пустота, невозможность отъезда и вместе несомненный конец лета.

До пожарки никого не встретили: мокрые бордовые дощатые стены, атактичная надстроечка, напоминание о существовавшей некогда каланче. Но и пожарных никаких. Походили вокруг, заглянули внутрь — все пусто: в углу — забытое зачем-то знамя, по-

среди — пустая тусклая крышка стола, забитая фишками домино до блеска, стулья в ряд, гараж заперт накрепко.

— Пойдем на паровозы, — распорядился тогда Митька, не унывая.

Паровозы — это тоже по дороге, к станции надо было идти мимо магазина. Вышли на асфальт, но и тут никого. Пошли, как и давеча, держась за руки.

Митька любил так ходить, а еще пуще — держаться ручонками за две руки: его и ее. Тогда, ступив шаг, он вис, прокатываясь ногами вперед, оттягивал и сближал их плечи, мешал говорить и сосориться.

Но сейчас Митька шел чинно. О чем он думает? О чем может думать такой вот человек, живущий на свете третью осень? Велик был соблазн к нему поприставать, окликнул:

— Митька?

— А, — отозвался тот с забавно-взрослой интонацией.

— Ну-ка, скажи, отчего у тебя уши топорчатся?

Ее всегда обрывал. Говорил, что делает из ребенка попугая, если просили Митьку почитать стихи на публику или песенку спеть. А сейчас вот сам. Теперь, по заведенному между ними обычаю, Митька должен был прикрывать ладошками уши, хитро уставиться снизу и, то отнимая, то прижимая руки, рассказывать: что ему там слышно.

А началось так. Шли втроем с речки, Митька вис у них на руках, и была эта минута одна из несчастных — оба чувствовали, до какого крайнего предела они вместе. Открывал Митьке угловатый полет капустниц, догонял кузнечиков, и там и сям заводивших стрекот, пугливо обрывавших трель, чтобы совершить юркий перелет, устроить буренское тельце на стебельке клевера. Самых нерасторопных успевал прикрыть ладонью, — щекотка внутри кулака, торжественность манипулятора, с какой преподносил сжатую руку Митьке, Митькино ожидание и трогательное разочарование на его мордашке, когда он не успевал взглядом уследить за тороп-

ливой дугой спасительного прыжка.

Вспоминал и сам: так же точно и в его детстве лягушки плюхались белыми брюшками о воду, возникнув откуда-то из-под берега, оставив за собой покачивающие пурпурных пирамидок плакун-травы, прячась где-нибудь на просвеченной отмели, лупя глаза и замирая под зеленоватым неслышным течением.

Из полых сырых волокнистых трубок борщовника учил Митьку стрелять капельками бузины, но у того не выходило. Ягода повисала на губе, трубка оказывалась обмусолена и забита, а она все тревожилась, как бы Митька не отравился, бузины не наелся. Был для Митьки распорядителем этого травяного, птичьего, лягушачьего, листового бала, покровителем таинственно змеевидных водорослей, меценатом в одной точке огромного неба повишшего в пенье жаворонка, властителем подсолнухового поля, в одну сторону смотрящего многими, еще серыми, глазами, и горящего дремным розовым цветом луга... И во всем — радость и свет обладания ею, им.

Но вот на возвратном пути черт дернул сглушить:

— Митька, зачем тебе такие большие уши?

И вдруг она рассеянно:

— Уши? Да, у него Костины уши.

Тут же оборвалась, затихла испуганно — Костины. Тогда и завел эту игру, Митька обрадованно слушал ему одному ведомое, а он ночью с чувством и счастья и горя слышал особенно благодарное: милый, милый мой...

— Ну что? Шумит?

— Шумит.

И едва Митька сказал это — увидели ее.

Она была еще далеко, в конце дорожки: ее светлое платьице, ее стриженная головка, — а рядом ехал, вихляясь, мальчишка на велосипед.

Я — устала — тебя — ждать, — тут же вспомнилось вчерашнее.

Виянье велосипеда позволяло мальчишке ехать вровень с

ее шагом, он все оглядывался на нее, то чуть обгоняя, то поспевая за ней, а на руле болталась ее сумка, и они о чем-то спорили дружно — даже издали было видно, что дружно, — и его с Митькой не замечали.

И мигом обесполезилось его ожидание, желание ее встретить, помочь донести, и тоном и разговором показать, что нет ничего важнее теперь, чем их сегодняшний день.

Мальчишка приближался, велосипед все вилял, сумка раскачивалась, — но рядом с велосипедом шла не она.

Как-то жутко стало ему от этой подмены.

Ускорив шаг, сжимая Митькину ручонку, он шел дальше, глядя в сторону, — но нет, никого. Вот и аллея — но и здесь ее нет. Лишь особенно белые сейчас стволы берез, все та же, физически осязаемая, пустота.

К магазину приближались чуть не бегом: тусклая лампочка, узкий прилавок, витрина бедна, ее нет.

— Купить конфету?

— Не хочу, — фыркнул Митька, думая о паровозах.

— Слушай, — сказал, едва вышли на крыльцо, — а ведь мама осталась на даче. Как же мы пропустили ее?

Митька только пожал плечами, не успев соскучиться. Придет, значит, идти на станцию, в обратную сторону той, где сейчас она, что-то складывающая, убирающая, знакомо наклонив тело, улыбающаяся из-под свесившихся вперед волос, эта ее знакомая улыбка между делом — знак того, что помнит и думает о нем, постарается закончить побыстрее и сесть рядом с сигаретой, уютно поджав ноги, спрятав ступни, а колени — высвободив будто нарочно для того, чтобы он смог положить на них руку...

Стояли на мосту. Паровозы тянули внизу длинные составы, мост дрожал. Задул ветер. Посерело.

Вот так же стояла и она с Митькой, когда он уезжал. Всегда просила не оглядываться, когда побежит через две ступеньки вниз к уже готовой встать у перрона электричке, — чтоб Митька

не ревел. Но сама не уходила. Сжимала ручонку сына, глядела вслед и снизу казалась жалче, роднее, меньше ростом и покинутее, чем на самом деле, — оглядывался все-таки... Возвращались скорым шагом. И не только затем, чтобы скорее увидеть ее, — стало холодно.

— Замерз? — спрашивал то и дело Митьку. Но тот качал головой: нет, мол, — и шел безропотно.

«А ведь нарочно спряталась, — вдруг решил с раздражением, решил в ту минуту, когда совсем было поверил, что куда она не делась, что на месте и ждет. И чем сильнее верил, тем больше раздражался. — Пришла же охота играть, что за глупости!..»

Но торопился. Митьку повел не асфальтом, а свернул от жарки в лес, чтоб короче было.

— Смотри, — вырвался вдруг Митька.

Он наклонился. Мухомор, который Митька обнаружил в траве, был бур, бородавчат и стар. К мокрой шляпке прилипла хвоя, и вдруг, глядя на эти уже поржавевшие мертвые иголки, вспомнил:

— Пусть он называет тебя отцом.

— Не надо, не надо учить. Потом сам...

— Потом, все потом.

... Даже ночью она не бывала той же. Каждый раз, приезжая, заставал в ней перемену, самую неуловимую, но только не для него. И каждый раз надеялся, делал вид, будто она та же. Но той же она не была.

Вышли к какой-то даче. Но даже здесь, на свету, на поляне, все будто сдвинулось, сгрудилось. Кусты же совсем почернели, и пожелтели деревья. Прежней прозрачности не было в воздухе, а повисла какая-то сладкая гарь. Словно тлением пах лес, и в запахе этом будто слышалось какое-то безутешное сиротство.

— Митька, — кликнул он. Увидел: Митька залез на лавочку у крыльца чужого дома, стучал по ней чем-то твердым. Мягкий стук тут же умирал — стук кости о дерево. Подошел, разжал его ручон-

ку: перемазанная, видно много дождей назад потерянная, фишка от домино. Вдруг вспомнил со страхом: еще весной, в первый их приезд, возле их собственного крыльца нашли они такую же фишку. Три-два, — увидел он. Так и есть — три-два.

— Подожди, — шепнул Митьке.

Тот кивнул головой. Зашел за дом, через секунду на сырой стене возник мокрый горб, затем второй: верблюд, чистый верблюд. Хотел и Митьку позвать, показать, да постеснялся. Нет, он расскажет ему сейчас, расскажет сказку о том, как холодно мокрому верблюду на мокрой стене... У нее сказки выходили по-настоящему. Как-то подслушал через дверь, — лежал, ждал ее, а она пошла взглянуть, не раскрывшись ли Митька, но тот, оказалось, не спал. Она рассказывала: один человек носил солнечные очки, но все-то ему чудилось, что с очками творится странное: то переливаются всеми цветами радуги, то будто шевелятся. Все разъяснилось, лишь когда очки вспорхнули с его носа, — так долго не замечал, что на носу сидела бабочка.

Митька смеялся. И чтобы усыпить его, она рассказала еще. Однажды бульжная мостовая решила уйти из города, потому что ей захотелось увидеть море...

— Митька, — крикнул, потому что Митьки на месте не было. — Митька, я тебя вижу. — Хоть и не видел, конечно, но что стоило Митьку обмануть?

Тот не откликнулся.

— Митька, — метнулся в одну сторону, в другую, — Митька-а...

Стали уже сумерки. Среди сосен у самой земли лежала туманно-красная полоса. Как скоро прошел день, куда подевалось утро?

Он побежал.

Бежал в сторону дома, отбрасывая от себя цепкие ветви кустов, то и дело спотыкаясь о широкие бугристые корни, распорол штанину, зацепившись за выступ большого мрачного пня... Однажды — бульжной мостовой — захотелось — увидеть — море.

Она терпеливо шла, много дней, ненадолго засыпая ночью, и утром снова двигалась в путь. Дошла. Море оказалось синим и очень большим. Конечно, я никогда не купалась, только умывалась по утрам, но вон: плавают же те люди, играют дети. Подумав так, мостовая подошла было к самой воде...

Он стоял перед тем же домом, — отчего он сразу его не узнал? — даже верблюд на стене еще не высох, и знакомая поляна под окном, вон их кухонька, вон угол соседней дачи. Окна их дома были закрыты фанерой, заколочена дверь — широкая щербатая доска набита наискось.

В доме давно никто не жил. Он стоял — ворох листьев под ногами, остатки инея на жухлой траве, такого, какой бывает самой поздней осенью. Руки его дрожали от холода. Неловко полез в нагрудный карман за сигаретами, скрюченными пальцами выгреб почти пустую пачку, на землю порхнул листок. Нагнулся, расправил, прочел: «Милый мой! Как странно — странно и дивно — мы полюбили друг друга...»

Листок был затерт и засален на сгибах, смят, желт по углам. Он сделал к дому несколько шагов, припал к щели между фанерой и рамой: темнота. Машинально оглядел себя: поцарапанную ногу, порванные штаны. Брюки были тщательно зашиты мелким, точным, ее стежком. Тишина.

Подышал на пальцы — легкое облачко ушло вверх. Страх не чувствовал, не было и тоски. Лишь давняя боль поднималась в нем. Нерешительно ступил на крыльцо, осторожно, словно боялся разбудить кого-то, постучал в заколоченную дверь.

Будто треснуло что-то высоко над ним, раскололось, распалось. Слышно этого не было, но почувствовалось им. Медленно и недоверчиво он поднял глаза.

Светило солнце. Лес потеплел, поляна осветилась, и ожила трава. Женщина, нагнувшись, собирала землянику, рядом с ней возился малыш.

Вот малыш увидел его, расплылся в улыбке.

Ближний круг

— Алеша, привет! — закричал он, и мать разогнулась.

Малыш бежал к нему, пугаясь ногами в траве, женщина улыбнулась. Улыбка ее была сперва выжидательной, недоверчивой, но вот — все знакомее, радостней и родней. Она тоже пошла навстречу, опустив руки и смущенно поводя плечами, как одна только умела, остановилась в трех шагах, сказала что-то про себя неслышно, а вслух — первое, что пришлось:

— Ты. Ты приехал?









Из книги
«Фотографирование и проч. игры»
(1990)





УРОКИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ

А т е л ь е, она всегда говорила а т е л ь е, бог весть кто выучил ее, не мастерская, не лаборатория, не фотография, но ателье, позвони в четверг в ателье или приходи в ателье вечером, — косоглазое здание на Каляевской, которое снесли нынче, а тогда с забитыми щитами окнами по одну сторону фасада, с пустыми окнами по другую и с игрушечной фотомастерской на первом этаже (комнатушка-приемная с приемщицей Бертой, тучной, в седовато-лиловых химических кудрях, шестидесятилетней лукавицей с грузными очками на носу-еврее, разностекольными под стать самому зданию, плюс два и плюс семь с половиной, с лиловым же большим пальцем левой отечной руки, каким она подсовывала под квитанции обрывок прозрачной на сгибах копирки; маленькая студия в черных драпировках со старой четырехногой деревянной камерой, снабженной черной гармошкой, с круглопузым сумрачного вида малым лет, как я теперь понимаю, под сорок, фотомастером Анатодем в синей с полосой рубахе, в бордовом с искрой галстукe, в черных нарукавниках и всегда под банкой; чрево этого заведения, наконец, целый выводок закутов и каморок, одна из которых именовалась кабинетом, содержала стол с черным аппаратом, пачкой пыльных бумаг и фотоснимками синюшных младенцев под стеклом, не востребованными капризными клиентками, стул и заляпанную бордовым портвейном тумбочку с коркой хлеба на масляной газете, с липким граненым стаканом, — другие были

отведены под лабораторию), сюда в течение месяца своей юности я являлся как на работу, имея в карманах кулек карамелек, пачку сигарет с фильтром болгарского либо кубинского производства, бутылку какой-нибудь сладкой крепленой дряни (все на деньги, сэкономленные от «домашних» закупок, кино и школьных завтраков). Я опасливо заглядывал в приемную, дожидаясь, пока старуха поднимет глаза, признает, надует дурашливо щеки и покачает кудрявой головой, мол, рано; тогда приходилось выкатываться на улицу и битый час болтаться на студенческом ветру по противоположному тротуару, выжидая, пока фотомастер в каракулевой шапчонке-пирожке и цвета тины с плесенью демисезонном пальто с большими карманами-клапанами, с помятым толстопузым портфелем в руке, покачиваясь, покинет ателье, освободив мне дорогу, ведь постороннему не место в казенном учреждении после конца рабочего дня, это всякому ясно, а мог ли знать мастер, что я — не посторонний. Заходя на приступ повторно, я был уверен, что толстуха Берта кивнет и подмигнет мне. Но и теперь надо было ждать. Я топтался в приемной, наблюдая, как бессмысленно долго перебирает она сардельками-пальцами свои бумажки, копается с квитанциями,ковыряется в жестяной банке с мелочью, стуча монетами, кряхтя и вздыхая; нечего и думать было приступать к делу, пока Берта не переобует разношенные туфли, не залезет в толстые боты, не облечется, сопя, облезлой шубой, не закрутит поверх древнего меха шляпы с полями пуховый платок, не перевооружит свой нос, сменив служебные очки на рассчитанные для хождения по тусклым вечерним улицам, и не повесит на согнутую больную руку дерматинную сумку, страдающую стригущим лишаем и проказой одновременно. Но прежде чем покинуть помещение, она крикнет Галину (да-да, ее звали Г а л и н о й , я твердо вспомнил, Галиной), чтоб нудно перечислить, что нужно выключить, прикрыть, запереть и проследить, и только после этого вывалится наконец на обледенелый тротуар, — и дверь за ней можно будет

замкнуть, а в приемной погасить свет. Мы минуем студию, где оставляем лишь притушенное дежурное освещение, мы придурно говорим шепотом, не чувствуя себя вправе законно пребывать в этом теплом месте (это после сентябрьских-то островков чахлой травы в сквозных старомосковских двориках, октябрьских-то сырых лавочек в мокрых сквозящих скверах, закаменевших от ранних заморозков ноябрьских земляных полянок за заборами замороженных строек), мы крадемся мимо двери кабинета, будто нас может подслушать пустая портвейновая посуда, мы попадаем сперва в затененную комнату с ярким прямоугольным на подставке увеличителем (здесь воняет реактивами и фотоэмульсией), потом оказываемся в следующей, где в огромной раковине слой на слое плавают в воде многие отпечатки розовеющих в свете красного фонаря разнополых одинаковых морд, и, наконец, мы дома (здесь уютно урчит лениво поворачивающийся валик электрического глянцевателя, здесь пахнет табачным дымом и дешевой косметикой, каковой я нигде никогда не нюхал). На сооружении, напоминающем пожилую парту, валяются ее мелочи, какие держать она могла, должно быть, только здесь, никак не дома под придирчивым взглядом взрослых: пластмассовая трубочка с облизанным столбиком отчаянно-алой губной помады, жестяная коробочка с самоварной тушью для ресниц (такую в те годы изготавливали парикмахерши и косметички по рецепту, надо думать, гуталина, взяв секрет у чистильщиков-айсоров), коробочка, в которой от плевков и упорной работы начинающей лысеть щеточки (детской щеточки для зубов) проелась белесая плешь, толстый коричневый карандаш со следами молодых задумчивых челюстей с неочиненного конца, с измусоленным грифелем с другого (для обведения губ), худенький черный, почти дочиста съеденный карандашик, большая драгоценность (для подведения глаз), банка штукатурной крем-пудры (она-то и дурманила меня, по всей вероятности), склянка то ли белил, то ли румян и, нако-

нец, вонючая, как керогаз, солдатской конструкции бензиновая зажигалка с откидывающейся крышкой и ребристым колесиком для добывания искры, —

вот, собственно, и все, что составляло загадочную крестословицу очаровательного и ненадежного, как мои тогдашние чувства, ее женского мирка, который я вдобавок (при неизменных знаках ее одобрения, гордо отдававшихся в моей глупой душе) населял тут же и бутылкой вина, и фильтрованными сигаретами, и карамельками в парафиновых фантиках, в какие я за немногие годы до того играл с соседкой по лестничной клетке. Правила были просты: поддевая фантик, сложенный квадратиком, ногтем большого пальца, нужно было накрыть им фантик партнерши и таким образом пополнить свою коллекцию, причем я отчаянно жульничал, доводя бедняжку до слез, до того, что на нашем семилетнем снегу она застенчиво рисовала палочкой на возвратном пути из школы расшаркивающееся закругленное «л»...

Появлялся стакан, наскоро сполоснутый в промывочной ванне, какой-нибудь гниловатый фрукт, мы выпивали, она посащала конфетки, я застенчиво проникал ей под кофточку, под подол, она хихикала, просила налить еще, шуршала бумажками от конфет, командовала отвернуться. Со стуком в висках я считал до двух, пока клюнут в кафельный пол оба ее мягких сапожка, но не оборачивался, избегая ее сердить. Сейчас отстегнет она резинки от чулок, вытянет из-под эластичного пояса (колот тогда еще не изобрели), поскрипывая ногтями по капроновой комбинации, тряпичные свои трусики, сунет их в сумочку и потребует погасить свет. Тогда я расправлял в потемках по сдвинутому в ряд жестким стульям свою нейлоновую курточку (полагая, что горизонтальное положение столь же обязательное, как выключение света и хранение трусов в ридикюле до истечения контрольного времени), укладывал ее, все хихикающую да жующую, на спину, наваливался (погоди ж ты, дай поту-

шу сигарету) и, навалившись, подтягивал к ее бедрам подол юбочки и подол комбинации (отчего, дурень, надо было это делать в такой неудобной позе). Расстегнув и стащив до колен собственные штаны, придерживая ее, пусть она и не пыталась ускользнуть, одной рукой, я копался у себя в трусах, наконец, поймав себя и примерившись, принимался копаться в ней, сдерживая книзу края чулок, отмахиваясь от докучливых многочисленных резинок, не сразу находя меж худых ее ляжек сухую щетинистую промежность, плутая, пока не нашупывал-таки липкое место, расплзающееся под пальцами, как раздавленная ягода. А там снова пускался на розыски сбежавшего за время рекогносцировки своего инструмента.

Она терпеливо выжидала, пока все будет готово. И когда, наконец, я прилаживался, прислонял головку к влажному и мягкому месту, она не выдерживала (подожди, дай я сама) и сварливо поправляла все своей спорой ручкой. Я принимался тыкаться в нее пощечьями, ничего не чувствуя, пожалуй, кроме истомного волнения, дергал задом вверх-вниз, подминая ее и потея от лишней одежды и усердия. Она и эти приемы терпела довольно снисходительно, как, скажем, неизбежные неудобства в переполненном транспорте, лишь справляясь через краткие интервалы времени, мол, не хватит ли, ах нет еще, ну ладно, и никогда не угадывала, пролилась ли уже из меня горячая прыгучая капель, ибо я, стараясь ее обмануть и продлить соитие, кончал втихую, как мышка, и продолжал как ни в чем не бывало елозить, хотя напора уж не было. Но рано или поздно обнаружив подлог, она решительно высвобождалась, приговаривая: ладно, ладно уж, довольно с тебя, — и я слезал с нее, стыдливо подтягивая трусы и путаясь в штанинах, она тут же одергивала юбочку, становилась чулками на грязный холодный пол, отворачивалась, доставала из сумочки трусики, влезала в них, подстегивала чулки, и лишь изредка, да и то на мгновение, мне удавалось подсмотреть бледно-землистые полоски обнаженной кожицы

на ее мальчишечьих поджарых ногах. После процедуры я бьвал немедленно усаживаем за фотоувеличитель, —

ведь я был ее ассистентом — вдобавок к портвейну с конфетами, — довольно усердным и немногого требовавшим в награду, пусть авансом.

Эта подмосковная девица лет семнадцати от роду с тощей грудкой, острыми плечиками, худышка с плоским задом и узким тазом, бойкая, несмотря на пролетарскую свою недокормленность, сметливая, с маленькими карими глазками-пуговками и носом уточкой, покрытым веснушками, была первой женщиной в моей четырнадцатилетней жизни. Как положено, она доводилась старшей сестрой моей однокласснице (но не той, с которой я играл некогда в фанты); я увидел ее летом на пляже на Филях, был сражен невыслышим ее кокетством, невиданными приемами завлечения, как-то: облизыванием верхней губы розовым язычком, переодеванием лифчика прилюдно, острым подглядыванием карей пуговицей из-под распущенных жидкопепельных мокрых волос, просьбой постоять на атасе при выжимании мокрых трусов за кустами. Она вынула их из-под подола сарафана и стала отжимать, ухмыляясь. Не испытывая ни торжества, ни ужаса, я улегся с ней в пыльную траву на этом чахлом берегу. Не здесь же сумасшедший, а если кто пойдет, пробормотала она приличную делу формулу и положила меня между раздвинутых ног. Все случилось споро, как у птиц, и я был не на шутку сконфужен, когда к моему страху и изумлению из меня потекла горячая струйка, обжигающая изнутри меня самого. Она деловито обтерла и меня и себя своими мокрыми трусами, повела ляжкой о ляжку, будто было ей между ног щекотно, обронила пойдём а то ждуть неудобно, и мы вернулись к компании моих сверстников, из которых никто, кажется, не разглядел, что из-за кустов к ним вышел новый человек, не тот, кого знали они под моим именем. Я сделался ее пажом. Конечно, она понимала, что она у меня п е р в а я , и пользовалась этим с

ловкостью. Я был покладист и не ревнив, лишь бы она позволила повалить себя и раздвинула ноги. Той осенью мы определенно застудили бы все потребное для наших скромных удовольствий, если бы она не поступила в ноябре лаборанткой в это самое а т е л ь е. И вот, сидя за фотоувеличителем, полный лихости и гордого сознания своей удачливости (в те годы любовь еще не опустошала, над случайным моим ложем еще не парила мутноватая звериная грусть, неизбежная спутница всякого соединения, которое, как мы научаемся понимать рано или поздно, всего лишь еще один обманно-приторный шаг к тому, что весьма приблизительно называют смертью), в свете красного фонаря я рассматривал опрокинутые изображения многих и многих лиц. В ходу были паспорта старого образца с фото три на четыре (мне ли не помнить этого), и граждане со сверхъестественным упорством поголовно фотографировались в этой кукольной фотографии, подставляя закаменевшие от сосредоточенности свои лица под пристальное око допотопной камеры мастера Анатоля. Снимки как один были безобразны. Одинаково уродливые, одутловатые или костистые, эти рожи навевали кладбищенскую тоску, разогнать какую-то можно было только сардоническим хохотом. Подолгу мы с подругой покатывались со смеху, проецируя на фотобумагу одну за другой незамысловатые рожи, самим народом находчиво названные протокольными. Были здесь в большом количестве надутые спесивыми шестнадцатилетними соками обоих полов поросята с невысокими лобиками и строящие торжественную мину при вступлении в обманную игру с государством, прикалывавшим с фальшивой улыбкой паспортистки их будущие убогие судьбишки к первому в их коротенькой жизни удостоверению личности. Что из этого выйдет, можно было разглядеть тут же: заморенные женщины, задерганные и озлобленные матери семейств и хозяйки, сизомордые даже на черно-белых фото пьющие горькую работяги или совслужащие мужского, судя по пиджакам, полу с тоскли-

выми взорами парнокопытных животных, навьюченных и забытых на жаре, устававших даже отмахиваться от мух. Ни на одной снимке не было не то что подобия улыбки, но даже проявления живости где-нибудь в уголках губ или уголках глаз, даже проблеска сознания, —

и мы смеялись до упаду, подталкивая друг друга локтями, мол, гляди, гляди, что за рыло, надо же, а эта морда, сдохнуть можно, а тот болван, еще почище, ей-богу, да нет, ты только взгляни, тетка-то, тетка-то сморгнула, придется пересниматься, да только вряд ли ей это поможет, — а собирательное протокольное лицо народа, застывшее перед казенным объективом, желая в ы г л я д е т ь на официальном документе, смотрело на нас коллективным взглядом н а с е л е н и я , смотрело с немой и тусклой укоризной, на нас, двух расшалившихся и грешных своих детей, урывающих у нищего своего времени, у жадной на исполнение самых простых человеческих желаний нашей страны, в нерабочие и послеучебные часы, тайком от родителей, учителей и начальства бесхитростные свои тайные радости, не скрашенные ни страстью, ни любовью, ни теплотой, одним лишь вот этим смехом, ибо были мы юны, глупы, беспечны, человеческие детеныши, не ведающие еще ни что мы, ни где, ни что с нами делают... Красный свет фонаря, ванночки с проявителем и фиксажем, десятки, сотни покойницких морд, которые приходилось усердно умывать в большой раковине, усердно сушить и глянцевать, спертый воздух и неряшливый запах, хилые девчоночьи ноги с несоразмерно большими ступнями в несвежих чулках на неметеном казенном полу, шуршание карамелек, вкус дешевого вина на устах, безвкусные мокрые поцелуи, торопливые соединения в ворохе ненужной одежды и боязливое ожидание, как бы кто не пронюхал-таки, чем мы здесь занимаемся беззаконно в государственной лавочке за закрытыми дверями в этот поздний зимний час посреди заметной Москвы, —

так бы все и шло, пожалуй, если б Берта не слегла с гриппом (я и сейчас вспоминаю эту старуху-еврейку с симпатией, ведь была она явно чудачкой, а помогала нам вполне бескорыстно, глядя на дело ветхозаветными глазами, но с языческой простотой и мудростью). Пару дней я не мог дозвониться до а т е л ь е , никто не брал трубку, и, пряча во внутреннем кармане приторно-сладкий кагор, два мандарина и шоколадный батончик, я прикатил незвано, переполнившись бродящими, рвущимися наружу соками. Нежилой дом вымер, витрина мастерской черна и пуста, но, прильнув к задрапированному окошку студии и продышав на стекле рваную дырочку, я почувал в глубине слабое красное мерцание. Я дернул дверь, она подалась, я шагнул в темную приемную, столкнувшись лбом с рогатой деревянной вешалкой об одной ноге, прижал к груди скромные свои гостинцы и, шаркая, стал двигаться наугад, вытянув вперед свободную руку. Наткнулся на обтянутый клеенкой высокий стол, напоминающий попир, для съёмок лиц младенческого возраста, узнал под пальцами пупырчатую холку дырявого пластмассового коня, коим фотограф, мрачно манипулируя и всхрапывая (что имитировало ржанье), добивался от несмышленных клиентов оцепенелого ужаса, принимавшихся истошно выть, лишь когда это выражение успевало попасть на фотопластинку. В конце коридора забрезжил путеводный красный свет. Я хотел было окликнуть Галину, но звуки удержали меня. Я добрался до порога комнаты для отмывания отпечатков, там шла нешуточная борьба. Глаза мои обвыкли, я отчетливо разобрал фигуру фотомастера, вполне одетую, размашисто и напористо, с толчками и пируэтами вращающую крупным задом, как если бы он крутил хулахуп. Под его полосатым могучим животом что-то белело, и я скорее догадался, чем рассмотрел, что это голый маленький задок моей скромной подруги. При каждом раскачивании она ойкала, взвизгивала, плечики ее мотались как тряпичные, головка болталась над самой ракови-

ной, на краю которой она лежала животом. Должно быть, немые умытые морды, плавающие в раковине слоями, и сейчас смотрели на нее оттуда все с тем же тоскливым осуждением. Ручки ее сжимали фаянсовые края так судорожно, будто она сопротивлялась быть утопленной, ножонки, обутые в сапоги, что не могло не удивить меня, совсем иначе представлявшего себе всю механику этого дела, болтались, как ватные, лишь иногда судорожно поджимаясь, будто со страха перед высотой. Но ни жестокость фотомастера, ни полная незащитность бедняжки не вызвали во мне ни гнева, ни сочувствия. Скорее, меня заворожали непривычные для моего слуха раненые клики любви, что она издавала.

Анатоль продолжал подкидывать и терзать лаборантку. Она была так податлива, словно и впрямь стала голосистой куклой, и он прочно держал ручищами ее щуплые тазобедренные кости. Наконец, не выдержав грубой и дерзкой работы, что свершалась внутри ее слабого тельца, она вся испружинилась, изогнулась, застонала, сжимая смертельно зубы, а потом с тяжким криком рухнула лицом в раковину, и от ее патлатых волос пошла по воде рябь. Тут маэстро всхрипнул точно так, как изображал на сеансах коня, потряс перед собой ее обмякшее тело, снял с себя и поставил на пол. Легонько ее отстранив, он зачерпнул пригоршню воды, точно хотел напиться, помыл себя, потер, стяхнул руку, будто перед тем высморкался в пальцы, поджал живот и выпятил зад, убирая хозяйство и застегивая ширинку, и не спеша удалился мимо меня в свой кабинет, обдав на прощание смрадным запахом пота и перегара. Девочка прислонилась к краю раковины, в красноватом полусвете ее изумленное и глупое лицо казалось мне красивым; глаза смотрели в пространство пусто, она едва улыбалась. Я видел потом на женских лицах это выражение туповатого изумления и никогда не переставал изумляться ему в свою очередь, опровергавшему начисто тома мужских сонетов, стансов, баллад и прочей дури, на-

сочиненной со вздохами о половой любви. Через минуту Анатолий вышел из кабинета в своем драповом пальто, в примятом пирожке, с портфелем гармошкой, она слабо крикнула вы уходите, ответа не последовало, лишь покидая а т е л ь е, он произнес безо всякого выражения три на четыре пятнадцать раз по три, четыре на шесть с половиной каждой позы по штуке. Дверь хлопнула, и он растворился в тогдашнем декабре, — навсегда.

Я тоже выбрался на метель, оставив лаборантку наедине с фотоувеличителем, глянцевателем, парфюмерными банками и бензиновой зажигалкой с кремниевым колесиком, под взорами наших людей, лица которых три на четыре предстояло ей отпечатывать, проявлять и фиксировать. Я зубами вытянул из бутылки пробку, пил приторное вино на снегу, без вина будучи пьян, плакал, но не от обиды, нет, от хмельного восторга нового знания, от благодарности ей и будущим своим подругам, от горячего тока жизни, ведь в те годы мы еще не ведали страха, страха, который заставит нас позже поверить в искренность, доброту, сострадание, во все слова, что придумали люди, пугаясь одиночества и смерти; ведь мы были только любопытными пчелами, летящими от цветка к цветку, только смеющимися пчелами, —

и пока мы смеялись, малолетние греховодники, прижимаясь друг к другу в старом домишке на Каляевской, что снесли нынче наедине с народом и судьбой в кукольном фотографическом а т е л ь е кто выучил ее этому слову.

МОТИВ КОРТАСАРА: УВЕЛИЧЕНИЕ

Нервный юноша хочет стать фотографом. И вот перед ним — курортный снимок (группа отдыхающих на фоне фонтана), его принесла клиентка (ноги толстые, толстый зад, грудь большая, сама крашена перекисью водорода, но стрижка аккуратная и молодая шея): вы — фотомастер? Глупые глаза растеряны: вот, посмотрите, можно ли переснять отсюда два лица, напечатать отдельно, я и подруга? О чем разговор, каков размер, сколько штук, вас я вижу, но где подруга? Это друг, сознается заказчица, вспыхнув, вот этот товарищ.

Внизу — надпись (черным шариком по негативу, белым учебным почерком на отпечатке): Гурзуф. И лаборант (он лаборант, никакой он еще не мастер) по молодости удивляется вслух — он ведь тоже был в Гурзуфе как раз прошлым летом. В августе, волнуется женщина. Также в августе?

Теперь представим юношу двадцати одного года на рубеже двух десятилетий: он слушает «Сержанта Пейпера» и «Белый альбом», он стрижется (не стрижется) длинно, он шатается по кафе, валандается большей частью без дела, сексуальный его опыт (как у многих девочек и мальчиков его поколения) далеко обогнал опыт душевный (что, впрочем, в ряде случаев и гигиенично), он — недоучившийся студент, от срочной службы в армии освобожден и хочет стать фотографом (в семье профессора математики) по врожденному ли любопытству к вещному миру, по отвращению ли к точным наукам (при известных к ним

способностях), по гуманитарному ли воспитанию на руках женщин (при отсутствии склонностей к музыке, живописи, словесному сочинительству и даже иностранным языкам), вот вам и источник неудовлетворенности, а значит — и честолюбия (как сказал бы фрейдист), созидательных порывов (весьма сомнительных) и несколько истерического прилежания в выбранной области — время от времени.

У юноши не развита воля, он подвержен тоске и мечтаниям, ничего не умея — находит и холит в себе призвание, сам уж очарован тем, что у него выходит (не выходит у него пока ровным счетом ничего), а пуще — тем, что получится впредь, делит время свое (а времени у него — вагон, даже в лаборатории предоставлен самому себе) между краткими запоями вполне дилетантского творчества и длительными мечтаниями (подчас с вином и подружками — тоже свойства весьма сомнительного) о скорой награде и, как водится, признании. Вот сейчас снимки его возьмут на выставку (на какую, он их никому не показывал), опубликуют на обложке иллюстрированного журнала (какого, он их никуда не посылал), его заметят, откроется перед ним прямая блистательная стезя (не знает еще ничего о противоборстве художника и стихий, как естественных, вроде отсутствия погоды, так и вполне сказочных, исполненных то страха, то соблазна), и, разумеется, томится, рвется прочь в волны вольной профессии от постылой необходимости прозябать в фотомастерской за пересъемкой, увеличением, черно-белой печатью и ретушью; несправедлива жизнь к молодому таланту, опутывает рутинными обязанностями, унижает потребностью зарабатывать себе на карманные расходы (после отчисления из университета отец — не выдает), но и уволиться нельзя, пойти по Руси странником с фотокамерой на груди, начнут насильственно трудоустраивать, пока сюда не зачислился — участковый не раз им интересовался, —

душно; сиди в темной комнате, переснимай насупленные лица с карточек паспортного размера, ретушируй, отпечатывай,

вручай простоватым старушкам, которые при взгляде на твою работу тут же и залиются слезами (и чем здесь развлечься). От чего умирают их сыновья, старушки рассказывают охотно: замерзли в сугробе, угадали попасть на производстве под пресс, каток, высокое напряжение, а в такую вот духоту и жару (горят даже за городом торфяные болота) представляются дома под утро от остановки сердца в отсутствии опохмелки или хоть таблетки нитроглицерина (я-то ему говорила, но Лидка, Наташка, Зойка, как разошлись, только деньги давай, костюм из пенсии сама ему брала, а она права детей тоже кормить нужно, в нем и схоронили, не успел поносить), но не всегда находятся у старушек индивидуальные фото, бывает, приходится увеличивать беззаботное лицо одного из трех-четырех солдатиков, обнявшихся за плечи и талии и почти неотличимых друг от друга (снимок перед демобилизацией), а то и окаменелое с молодыми усами лицо притюкнутого парня в топорщащемся черном костюме под руку с также замороженной Веркой, Зойкой, Наташкой в фате и белом платье (на казенном ковре в день регистрации акта их нового праздничного гражданского состояния). Сливаются эти лица для нашего юноши в одно напряженное, глаза уставлены в объектив, не сморгнут, и при увеличении, при внимательном взглядывании в само это выражение (в само отсутствие выражения) кажутся различимы (в безжизненности зора, в оторванности пуговицы у ворота) будто признаки будущей скоропостижной гибели (что ж, наш юноша прав, в том и прелесть фотографирования, что камера — соглядатай, камера — разоблачитель). И вот подсматривает он обрывки чужой, незнакомой ему жизни (и смерти) в замочную скважину своего ремесла, кажется себе первооткрывателем того, что спрятано было и от равнодушного фотографа, и от самой натуры...

Заказчики — все больше женщины: то печатаешь дачные снимки (пятилетний бутуз держит в руках белый гриб), то из

туристического похода (клиентка в кедах, в обтягивающих большие ляжки штанах помешивает в котле ложкой, потом она же, обнажившись до купальника, позирует с закрытыми глазами, будто играет с фотоаппаратом в жмурки); тут и неуклюже-развязные дурищи с косметикой по прыщам (с дружками по подъездам, но эти за кадром), и милые человеческие зверьки лет восьми от роду (второй класс) с тощими косицами, с серьезными лобиками, с крепко сжатыми зубами, чтоб не рассмеяться; долговязый подросток демонстрирует попавшуюся на крючок щучку; девочка в джинсах на крыльце деревенского дома расчесывает гребешком кудлатую кривоногую дворнягу с изумленной короткой мордой; студенты босиком и в штормовках (при увеличении различимы вымпелы на рукавах — МАДИ) поют неслышимую песню, держа над гитаристом кусок полиэтилена; гладко прилизанный старший лейтенант пехоты — с чемоданом; опрятная старуха смотрит послушно, руки сложив в передник; улыбается юный демонстрант, сидя верхом на папаше и мусоля уди-уди; школьники в сапогах и нейлоновых куртках окучивают свой сад (и это единственный случай, когда любительское фото запечатлело трудовой порыв). Но каждый раз под увеличителем на периферии кадра можно разыскать множество деталей (это и есть любимая игра лаборанта), закравшихся по недосмотру, даже в центре иногда — неожиданные подробности, каких не застанешь на газетных фото: поющий студент держит лапу на голой коленке соседки, мальчик готовится наставить приятелю рожки, школьники на заднем плане лишь нагло ухмыляются, опершись на лопаты и грабли, а верховой демонстрант снят на фоне портрета, причем голова седока угодила основоположнику в бороду; мужская волосатая рука, поддерживающая голого малыша, неуверенна, позади маячит другая, женская, а из-под подставленной загару толстой одутловатой ляжки нахально подглядывает девица лет пятнадцати, застигнутая за чисткой картофеля или грибов, —

и бесконечен этот орнамент, в глазах рябит от нерезко снятых тел, собак, лиц, растений, знамен, фуражек, и, может быть, еще не раз пожалеет самонадеянный юноша, что не оставил себе каждого снимка по штуке, но отбросил сданные ему судьбой на руки карты; ведь мог бы позже разыграть из всех этих персонажей обширный реалистический пасьянс, скллажировать, скажем, лейтенанта с девицей-автодорожницей, заставить демонстранта удочерить девочку в джинсах и лохматую собаку, осестрить покойного ныне солдатика, а в мужья овдовевшей Наташке ли, Верке ли подбросить ничего не подозревающего, бесшабашного до поры до времени босоногого гитариста. Но наш юноша как будто предчувствует, что это — не дело фотографа, ему можно простить — юн, тороплив, занят собою, увлечен лишь своею забавой — подсматривать ненароком оброненные детали, будто в них самих по себе есть хоть какой-то замысел и смысл. К тому ж жизнь этих туманных, лишенных всяческого изящества (даже более или менее продуманного расположения в пространстве) фигур — чужда ему, далека от него, непонятна, —

как, впрочем, далека и другая, элегическая, из его собственного семейного альбома. Там из коричневой дымки немислимого прошлого, из-под широких полей белых шляп спокойными чистыми глазами смотрят женщины в белых муслиновых платьях; там ослепительные перчатки по локоть, в них — стеки и веера; там никто не смущается под взглядом единственного глаза камеры-циклопа; там холены бороды и усы, а кителя, стуртуки, мундиры и рясы — умны, самоуверенны, безмятежны. Дымчатые поля овалыны, нарядны вензеля и виньетки, и даже имена фотографов, начертанные под портретами, оперны и витиеваты. Этих дам и господ никому и в голову не приходит почитать умершими, как, глядя на маски и бюсты древних героев из учебников по истории Рима, никто никогда не думает о смерти, но лишь о подвигах, роскоши и величии. Может

быть, поэтому наш юноша, получая в постель эти альбомы вместе с градусником и малиновым вареньем в дни зимней простуды, в детстве всегда полагал своих предков просто вышедшими за дверь, отступившими за кулисы жизни, однажды севшими на пароход и уплывшими неизвестно куда, — но отнюдь не покойными. Но не было и моста между этими двумя жизнями: нынешней, веселой — и сумрачно-коричневатой, старинной, и юноша парит без поддержки посреди исторической пропасти (на его молодые крылья еще плохая надежда), и что он должен испытывать, как ни одиночество, —

и он испытывает его.

Как ни странно, отчасти это одиночество провинциала (всякая, самая парижская юность — наша провинция), смутно догадывающегося, что где-то за незнакомыми окнами — иной и блестящий мир, но в большей мере — юношеское воспаленное чувство сиротства, постоянно ноющая пустота в том месте, где каждый помещает в душе иное, но подобное себе существо, и, кто скажет, что юноша наш был готов к любви, тот тоже не будет не прав...

Впрочем, вернемся к теме — теме подглядываний и совпадений (и только беллетристы считают последние — иронией судьбы, судьба же — не иронична, она играет в кости, чуждая как добродушия, так и злокозненности, руководствуясь лишь теорией вероятности). К ней нас заставляет обратиться все тот же групповой гурзуфский снимок, что принесла в лабораторию толстуха заказчица. Попытаемся представить себе фотографа в соломенном сомбреро, в сношенных сандалиях на больших пыльных ступнях загорелых ног; август, набережная, толпа, фоном — фонтан и корпуса санатория, построенного в большом стиле конца тридцатых годов; группа здешних отдыхающих сбилась в кучу, и молодцу в сомбреро не сразу удастся обуздать это пугливое и бестолковое стадо; но вот наконец мало-мальски пристойный порядок достигнут, отдыхающие построились и пооткрывали рты, уставясь в окошко камеры; птичка выпорхнула, и фотограф отер пот со лба;

теперь — увеличение:

обладай наш юноша чуть большим воображением (впрочем, это лишь синоним любопытства), он задался бы вопросом, с чего крашенной перекисью водорода бабенке четвертой справа во втором ряду извлекать свое изображение из душноватой глянцевой прошлогодней мути нерезкого халтурного курортного фото? И зачем тиражировать немолодую женщину в заливатски напыленной бесформенной панаме и больших пляжных очках, за которыми вовсе не видно ни глаз ее, ни мелких черт лица, и этого вот гражданина в носках и ботинках, хоть и жарища несусветная, со стальными зубами; в одной руке у него женская пляжная сумка, другая робко водружена — ради цельности композиции, надо полагать, — на толстую шею соседки; она же — игриво напряжена, смотрит в камеру, как на стартовый пистолет, с тем чтоб через мгновение после спуска затвора кокетливо высвободиться из неловкого объятия)? Так и застыли они навеки: стыдливый охотник с ненатуральной стальной улыбкой и пугливая счастливая курочка, лелеющая свой многообещающий испуг, и какова будет судьба этих, новых отпечатков? Пошлет ли она ему их заказным письмом, тайно надеясь если не разрушить провинциальную семью пансионатского ловеласа, то хоть лягнуть его жену, напомнить о себе и о своей уступчивости (привыкли, что для них все легко и даром); или же, всплакнув (сарафанчик-то хорошо сидел, удачные были и фасон, и рисунок), спрячет в ящик комода к другим дорогим вещам, как-то: старая трудовая книжка, новая пенсионная, оплаченные еще в том году междугородные телефонные счета, книжка сберегательная, книжка платежей за коммунальные услуги, паспорт с просроченным гарантийным талоном на починку швейной машинки и несколько поздравительных открыток со знаменами, цветами и добродушным Дедом Морозом, а также чудом завалившийся старый-престарый карманный календарь с аккуратно отмеченными «днями»? Но нет, это не интересует эгоцент-

ричного юношу, нет места среди его игр чужим сантиментам, подробностям посторонних, смешных лаборанту, немолодых чувств; он, как сеттер, обегает челноком поля негатива, с азартом подмечая, что там есть пожива: случайное сцепление голов с животами, надстройки из чьих-то локтей к чьим-то носам, многорукость одних при полном отсутствии конечностей у других тел, парение лишенных опоры предметов. Десятки очарованных островков для путешественника со вкусом к причудам и странностям мира — они при верной выкадровке и точно угаданной степени увеличения превратятся на отпечатках в страшноватые человеческие гротески, которые будет нелегко разгадать, если искать в них сходства с тем, что многие по привычке считают натурой (но, собственно, когда и заниматься этим рутинным сюрреализмом, как не в двадцать лет).

И вот одна из контролек: слева от основной группы торопливый фотограф успел ухватить часть посторонней фигуры. Девушка (да, по всей видимости, это — девица в светлой кофте с воротником апаш), проходившая в этот момент мимо, отвернулась от фотокамеры, видна лишь часть скулы, лишь прядь темных взлохмаченных ветром волос, угол светлого лица, но при еще более сильном увеличении — и краешек глаза, и распахнутые ресницы, даже ямочка на смуглой от загара щеке (но, возможно, это уже дефект материала), и краешек чьей-то тельняшки (может быть, это ее спутник).

И здесь — самый важный момент, так что по порядку: юноша (в скобках отметим, он не обладает тренированной волей, запас внутренней прочности, по-видимому, незначителен, из обеспеченной семьи, а значит — притязательный, шляется по кабакам, знает с блядьми, покуривает анашу, никак не подготовлен к трудностям художнического бытия, полон иллюзий, которым предстоит в свой срок разбиться) желает стать фотографом, пока же служит лаборантом в фотомастерской. Не имея ни должных навыков, ни сил для устойчивого вдохнове-

ния пуститься в свободное плавание по морю избранного им искусства, он пока пробавляется тем, что изо дня в день, переснимая и увеличивая по заказу чужие снимки, извлекает из них и коллекционирует забавные, на его взгляд, посторонние и случайные подробности (брак фотографов-любителей, не умеющих или не успевающих отбросить и оставить за рамкой кадра непредсказуемые проявления неугомонной природы). Однажды молодая женщина приносит ему в мастерскую групповое курортное фото с просьбой переснять и отпечатать то да се, ее саму и ее друга, избавив таким образом ее воспоминания от не идущих к делу посторонних морд (и она поступает в этом случае как взыскательный профессионал, впрочем, ее санаторский флирт — лишь наше предположение, но это несущественно). Под снимком — название крымского поселка и дата, и надо ж такому случиться, что именно в этом местечке и в это время побывал и сам лаборант. И вот, развлекаясь привычно, впечатлительный юноша обнаруживает с краю переснятого и увеличенного им изображения фигуру девушки, точнее — намек на фигуру, и загорается этим вполне случайным открытием.

Он — одинок (об этом мы, кажется, уже говорили), естественно, что в свой срок малютки зовут маму, девочки ищут отца, девушки ждут ребенка, женщины мечтают о муже, шарик летит, а юноши — юноши хотят иметь пару. Но отчего изображение, а не живая натура (летние московские улицы полны подходящих девиц)? И отчего именно она, а не любая другая с этого же снимка (там были и хорошенькие), незнакомка, снятая в три четверти, к тому ж безвозвратно потерянная в глуши прошлогоднего гурзуфского лета? Только ли из-за рубашки апаш, из-за ямочки на щеке (повторяем, здесь возможен и технический брак, качество снимка отвратительное, увеличение слишком большое), из-за распущенных волос, из-за длинных ресниц, наконец (и еще неизвестно — были ли и они)?

Предположение, лежащее на поверхности: нашему юноше

фигура показалась знакомой. Не то чтобы он узнал ее, нет разумеется, но что-то в ней напоминало ему явь ли, сон ли (как и всякий мечтатель, лаборант никак не мог довольствоваться наличествующей реальностью, и чем больше этой самой реальности проходило через его руки, тем ненасытней становилась мечта), неясную какую-нибудь юношескую грезу о слиянии и совершенстве. В его возрасте это случается сплошь и рядом — следишь с волнением за всяким ускользящим силуэтом, тянешься к неувловимому; до неприличия пристально рассматриваешь лица женщин путешествующих, или в больнице, или в трауре, или в церкви; это тоже своего рода увеличение — лишённые рамки повседневности женщины превращаются в эскиз, в голую, очищенную от всего житейского возможность, —

так что ж говорить о нашем юноше: случайный снимок, летучий след на светочувствительной фотоэмульсии, эфемерный отпечаток — это ли не пицца для фантазера? Так или иначе, но лаборант на той же неделе берет отпуск в лаборатории, выклянчивает у папаша денег, рвется во Внуково и захватывает первое попавшееся место на рейс Москва — Симферополь, предварительно позубоскалив с четверть часа с диспетчершей аэропорта. И через недолгое время он уже совершает посадку на земле Крыма, пощелячи принюхивается к блаженным запахам летней южной земли, ветерка с гор и перегретой дневной пыли, —

и устремляется на побережье.

Впрочем, кроме эротического объяснения импульсов нашего лаборанта, можно привести и иное, социально-психологическое, что ли, толка, проиллюстрировав его, однако, психоаналитически, а именно — навязчиво повторяющимся сном юноши, в коем звучал, быть может, голос рода, укор крови, стремление к благородной симметрии (подсознательное) как единственному способу заполнить ноющую пустоту и утишить тоску по подобному:

будто входит он об руку с нею в московскую барскую квартиру (в какой никогда не бывал) с портретами в рамках, семейной бронзой, запахом старых книг, увяданья, древней мебели, выдохшихся неведомых духов. Его покойная бабушка (она умерла в коммуналке, когда он учился в девятом классе, снисходительно относилась к любым его проказам, смешала уличных девок обращением «барышня») — бабушка в гостиной раскладывает на овальном столике пасьянс; он подходит к ней, она улыбается, хочет поцеловать в лоб. «Я не один, — говорит он. — Я хочу представить тебе...» «Не один, разве?» — все улыбается она и треплет его по волосам; и верно — нет никого рядом с ним, лишь ладонь его, сжимавшая только что е пальцы, еще влажна...

Но было бы натяжкой с нашей стороны утверждать, что наш юноша, достигнув Гурзуфа, только и делал, что, томясь и тоскуя, искал свой идеал. Ничуть не бывало. Тут же смешавшись с толпой таких же юнцов, прибывших из всяких больших городов страны, со свежей порослью на нахальных лицах, в лохматых шортах, созданных при помощи ножниц из потертых джинсов, с крабьими лапками на незаматеревшей груди, в патлах, нашейных платках, кричащих майках, он предался незамедлительно прослушиванию Челентано на террасе коктейль-холла, фланированию по набережной в обнимку с тощевой девицей, тоже босой и патлатой и напоминавшей ему Джейн Фонда, после закрытия бара и наступления темноты валялся на лежаке на пляже под дребезжание гитар, смех, вздохи и стоны, вдыхал терпкий запах пахнущих солнцем плеч и соленых сосков и губ, ночевал под открытым небом, утром подтягивался к «тычку» с кислым сухим разливным дешевым вином, лопотал на амерусском полублатном эсперанто, воровал пищу в столовых (скорее по традиции, чем из нужды или жадности), короче, принимал деятельное участие в общем балдеже, хиппеже и ту-совке. При этом он носил-таки в нагрудном кармане размытый неясный снимок незнакомки в три четверти, но вовсе не ждал

ее встретить, не озирался на улицах, даже сакраментальное место съемки поленился разыскать, хоть и задумывался иногда, наматывая на палец прядь волос своей случайной подруги, взглядом упершись в морскую даль, где видел, скажем, белеющий одинокий парус.

Однажды, поспешая по своим неотложным делам (на приморском юге у любого шалолая полным-полно неотложных дел), он наткнулся на толпу людей, бестолково топчущуюся возле фонтана. Фотограф в сомбреро, с кавказскими усиками и сильным украинским акцентом дирижировал ею, стоя за своею треногой; наконец, некое подобие канонической групповой композиции было достигнуто, фотограф припал к окуляру, —

и наш юноша узнал всю картину. Конечно, вот и фон — корпуса санатория Приморье, вот и группа отдыхающих, запечатлевающих на память перед экскурсионной поездкой на прогулочном катере в Никитский ботанический сад; вон и немолодая бабенка в пляжных очках и панаме, в сарафане красивого ситца, рядом — гражданин в салатовой майке (темное потное пятно меж грудями), одной рукой придерживает подругу, в другой — женская сумка с выглядывающей из нее металлической дыхательной трубкой для подводного плавания, —

птичка вылетела, фотограф отер пот, наш юноша отчетливо понял, что все это уже было. Конечно, конечно, он проходил здесь прошлым летом с приятелем (на том была еще такая полосатая маечка, похожая на тельняшку); они обогнули группу отдыхающих слева, юноша повернулся к спутнику и, должно быть, что-то сострил. На нем была легкая рубашка апаш, а волосы — еще длиннее, чем сейчас... Что ж, малютка находит материнскую грудь, девушки рожают, женщины подчас выходят за муж; шарик голубой, юноши ищут пару; ты же нашел самого себя. Для начала неплохо, будь здоров, мой милый.

НАРУШЕНИЯ В ПЕЙЗАЖЕ

Тополь (гусиное перо, видится в контражуре) смутное поле (отсвечивает роса) три горизонтали — чернильной воды в реке, отдельной полосы тумана, противоположного коренного берега, покрытого густым орешником: спуск затвора, перевод кадра, шорох внутри камеры. Чуть левее — поле неясная река (крона касается края рамки) три пятна белой будки белого бакена белой створы на плесе: спуск затвора, перевод рычага. Духовая музыка с утра играет в деревне (двести дворов, кто-нибудь мог умереть). Повернуть назад — тополь сад дроблики беленой стены, голубоватые в рассеянном свете: затвор мелкий дождь музыка слышится глуше. Нужно бы жить не в доме — в шалаше, под гривой вишневого дерева (сад запущен и птицы сыты, ягоды не склеваны) на краю виноградника поздней лисьей лозы по женскому имени остерегаться, неся от колодца полные ведра, наступить на скатившуюся к ногам перезрелую дыню (расползается без хруста утробно сочится мякоть пачкает траву семенной клубок — жухлые нити вялые ткани — съезжает набок, слизистый душный), — хозяйка не позволит. Постелила в парадной гостиной (рябь в глазах от ковровых узоров), поставила на пол теплый таз, держала на руках крахмальное полотенце, пока мыл ноги, комкала бахромой в маленьком кулаке; лишь во вторую ночь разрешила перейти на заднюю веранду (серые обои кукла цветной карандаш) ближе к саду, набрякшему и томящемуся. Сад — стыд хозяйки; хоть и приглашает деревенскую родню, на-

нимает работников прополоть огород, полить помидоры персики, собрать урожай под грецким деревом, зарезать визгливого и вонючего борова, опалить тушу на соломе перед воротами, окатить колодезною водой рассохлые бочки, чтоб набухли доски, крепче сели ржавые обручи — до сада руки не доходят, гость сам собирал вишни себе на вареники, — нечаянный гость, плодonoсящий сад.

Дом богатый со своим колодцем с двумя антеннами над крышей с приезжающим из райцентра (только днем) на пегом от грязи автомобиле скажем доктором местной больницы или руководителем хора, и здесь к месту представить год назад похороненного мужа немногим старше ее, но опирающегося на палку язвенника или там чахоточного бывшего хозяина, ковыляющего от клеток с кроликами к курятнику, тускло взглядывающего на белую и слишком длинную для коротконогой фигуры шею, которая делает и всю фигуру как бы полудетой. Он шаркает кишечник печень селезенка не справляются с работой разбрасывающая пшено рука дрожит. Он горбится не хочет замечать увитую веселым виноградом беседку для гостей, — хозяйка гостеприимна. Фотограф скрылся у нее по случайному знакомству (проезжал со своей бледненькой женой по этим местам прошлым летом, торговал у хозяйки орехи), но приняла какжданого гостя, и вот: не видят соседки докторских «Жигулей», но — одинокую фигуру в беседке, но — цветы на столе, хоть и не именины, но (удавалось подглядеть) — холодец из гусиных ножек, домашнюю колбасу, инкрустированную по густо обведенному салом срезу, но — дымящуюся в чугуне мамалыгу к жаркому, пряный мащдей с холодной рыбой, соленья к терпкой самогонной водке, приправленной для вкуса и запаха белым кубинским ромом, но нынешней уже осени молодое красное вино в широкогорлых кувшинах. Застольные рассказы округлы, как сама симметрическая жизнь с двумя мужьями двумя дочерьми (оба в могиле, обе в городе), но слушает ли гость — не понять,

щурит глаза теребит салфетку покорно съедает обед вдвое больше, чем хочет и может съесть, тянет вино из высокого стекла (или по рассеянности не замечает, что живет с одинокой вдовой под одной крышей, что рубашки всегда стираны) по утрам рассматривает свет от солнца из косых щелей мужчина молодой одет чисто приехал на машине со столичным номером подарки дарил (все нужное) идет по деревне держится достойно, она невзначай присела на краешек спросил без приязни — пора ли вставать, смутилась подхватила шпильку подол порхнул икры полные густая грудь стиснута под кофтой пальцы мелкие чистый лоб (нет-нет, потом и будет вот так входить бесцеремонно), — спуск затвора, перевод кадра.

Целые дни щелкает Фотограф камерой (на девок не смотрит с мужиками не заговаривает со стариками здоровается вежливо) она объясняла, что за это получает деньги (сама плохо верила) ей фотографироваться не предлагает, и хозяйка смирилась бы, коли заглядывается на мутную воду в реке неприбранный стыдный сад, если б не сплетня (злы люди, испорчены языки), будто на том берегу у соргового поля снимал перевозчицу Нади убогое лицо с беззубым ртом (даром что двумя годами младше) две бордовые щеки глаза с детским страшноватым свечением — оскорбительная причуда. Одним веслом боролась Нади с течением, забросила юбку выше колен, кокетничая в лодчонке на возвратном пути (поняла, что нравится), Фотограф смотрел с волнением на искореженные пальцы босых больших ног темные колени сохлые ляжки, с отвращением вдыхал запах напитанной ее одежды, дал ей за все на вино. Она уносила деньги по кособогу, пряча на груди, как детеныша. Перед вечером видел ее еще раз (имя городской проститутки) в пыли красноватой улицы: мимо скрипя проплывали запряженные парами арбы проезжали мотоциклисты, она сидела закинув голову закрыв грудь черными руками, пела со спокойным лицом, никого не узнавая. Хозяйка поджидала у плетня, сутулилась (выбрал такую-

то). Фотограф решил легкомысленно, что индугенцию завтра же выменяет на шоколад (ах, эта паутина гостеприимства, но иначе здесь не устроишься, кроме водки и шоколада в магазине ничего нет) от ужина отказался внимания не обратил на затаенный гнев в углах губ. Утром разглядывал теплый свет от щелей веранды (печальная привычка вполне счастливого человека) вспоминал тощий штакетник сырой огады клочок старой травы бледную пустоту в северных соснах над песчаной осыпью (автомобиль аппаратура пара джинсов, все что оставил себе) заметил воровку. Положим, Фотограф заметил ее посреди сада (узкая ситцевая спина продолжение бедра — ивовая корзина кисть оставленной свободной руки перпендикулярна локтевому суставу), но лица разглядеть не мог, сад еще не терял листву, и воровка лишь промелькнула за бесформичей смородинных кустов (ветви темного кобальта пепельная роса проблики голубоватого ситца), и есть одна лазейка рассмотреть и завтра узнать ее — неширокий прогал обок смородины (виноградник вдвинут в него краем), при достаточной глубине резкости можно отчетливо захватить и кусты и стволы яблонь и сходящиеся в перспективе виноградные ряды (даже крестообразные подпорки) и ее, остро взмахивающую длинными садовыми ножницами, то сгибающуюся то привстающую на цыпочки (пятка поднимается — щиколотки стройнее выше кривоватые ноги) до того, как она исчезнет, — ибо она исчезла. Он вышел на крыльцо, она еще виднелась (дальним концом виноградник задирался вверх), но прикрытый салфеткой завтрак ждал на столе в беседке, откуда был вид на хозяйский цветник, могучую георгинную рощу и на отдельный колодец, украшенный на коньке (рукоделие покойного мужа) аляповатым петухом. Позавтракав, Фотограф застал за домом других работниц с теми же корзинами с теми же ножницами двух парней по пояс голых с потной черной порослью на грубой груди, сваливавших гроздь из женских корзин в тяжелую двуручную и носивших урожай на двор

к давилъне, где уже громоздилась сладкая кровоточащая куча, полная мух. Выемки под яблоками колен воровки блестели от пота, но, разумеется, это слишком общая примета, как и грудь, стянутая на взгляд Фотографа лишним лифчиком, как и линия плоского живота, своим окончанием указывающая место лобка, как и банальный ситец платья (в том, что было именно платье, не юбка с блузкой, тоже нельзя быть уверенным), как и непкрытая темная голова, коротко стриженная. Тем более что на другой день на ней была повязана по самые глаза косынка (лицо загорелое, маленькое), а голые ноги (подол высоко подоткнут) перепачканы глиной, серые разводы на икрах, солома на коротких блестящих ляжках. С другими бабами месила глину у недостроенного дома, жилистые мужики таскали саман на носилках забрасывали вилами на чердак, красношей парень работал среди других, а девка, которую Фотограф принял за невесту, беременная и рябая, помогала старухам располагать на кошмах, постеленных на траве, угощение. Дело шло к концу, граненые стаканы были расставлены, толстые ломти сала оплавилась на солнце. Беременная вынесла глиняный кувшин (пот заливал глаза, но утереть распаренное лицо не могла), красное вино (женское имя, лисий вкус) текло через край по лакированному боку расплывалось по вздутому животу, капая на юбку. Воровка месила, задрав подбородок (треугольник бледной кожи над кадыком-коготком), здесь же стояла бурая деревенская церковь (ради нее пришел Фотограф) с зачеркнутой косою ржавой полосой тяжелой обитой железом дверью. На замшелой паперти сидел бывший церковный староста (поп проворовался, храм бездействовал) в полосатой двойке, несмотря на жару, в темной широкой шляпе. Тайно он служил на дому крестил отпевал лечил травами снимал сглаз, заметив фотоаппарат, вскочил на ноги, сдернул шляпу, поклонился незнакомцу раз и другой, блестя исподлобья глазами (ненатуральные поклоны, шарлатанская предупредительность). Мужики уж бросили работу, воровка ме-

сила глину босыми ногами, закинув голову и глядя на крыши, возле которых низко у карнизов вились ласточки, предвещающая нынешний мелкий дождь, но она была не похожа на ту, что собирала виноград, как не похожа на нее та, которую он встретил возле чужого колодца. Сильной короткой рукой воровка вращала неподатливый ворот, но притворно натужилась при приближении незнакомца. Ведро гулко ткнулось в мягкий подгнивший сруб, вода сплеснула, несколько секунд цокала глубоко вниз. Он перехватил ручку (мгновение они видели лица друг друга в колеблющемся глянце воды), подтянул ведро, поставил на землю. У нее во рту был леденец, она перемещала его от щеки к щеке, пока говорили, иногда вытягивая и морща потресканные губы. Мелкие дождевые капли осыпали их лица, где-то играла музыка (медный духовой оркестр), в паузах, будто выбивали ковер, хукал кожаный барабан. «У нанашей во дворе играют», сказала воровка (леденец промелькнул между губами), и неведомые эти нанаша представились Фотографу на миг зловещими какими-то пузырями земли. Впрочем, оказалось, играют не на похоронах — на свадьбе. Она упомянула еще, что живет в городе, здесь гостит у матери; перед тем как взять ведро, сплюнула конфетку на ладошку, помедлила, положила обсосыш на сырой колодезный венец. Цепко взялась за алюминиевую дужку, пошла, подергивая попкою, приподнимая свободной рукой подол платья (все тот же бойкий ситец), но колени были не те, острые и худые, хоть запястье напряжено и изогнуто так же, как когда несла корзину через сад, — тополь шалаш (чей-то огорок за ивовой стрехой) медная музыка, хозяйка Фотограф воровка, — все, что понадобится, пожалуй.

У ворот застиг пегие «Жигули»; руководителя хора — в беседе за обильным завтраком (губы хозяйки сложены сдобно). Полненькие коротковатые руки порхали, подавая то, подвигая это, Фотограф стал свидетелем особой предупредительности, адресованной не ему (ему — прохлада). Познакомились (Иван

Константинович). Жевал удивленно парился в чинном пиджаке две залысины краснели, но разговор коснулся нынешних беспорядков, и с удовольствием подтвердил, обгладывая индюшачью ногу: беспорядки имеются. Воскресным днем на ярмарке снова задержали карманников, больные сильно выпивают, занимая койко-дни в больнице. Хозяйка напомнила, что беспечных приезжих грабят возле турбазы насилуют в кустах берите-берите накладывайте уголовных много развелось кушайте — не стесняйтесь даже на селе, к примеру — уехала в город семнадцать лет связалась с ворами села в тюрьму за квартирную кражу огурчики попробуйте вернулась к матери с дитем на руках: муж у ней в городе да нет у ней никакого мужа нагуляла с блатными ребеночка в совхоз не идет нанимается к хозяевам есть ли у нее документы. «А как ваши дочки в городе поживают?» — спросил Иван Константинович некстати. Фотограф лежал на постели поверх одеяла (сумка с фотоаппаратурой рядом на табурете), когда машина доктора завелась и отъехала. Хозяйка вошла без стука, принялась искать в платяном шкафу, стоя к нему спиной. Поза женщины, разбирающей белье: томительные движения плеч и локтей и спины (пахнущее теплом домашнее добро какая-то яркая вышивка какой-то снежный тюль или шифон служайная старая детская вещь), — повернулась, разрушив композицию держа на руках ненужную тряпицу, рассмеялась деланно (сильный запах нафталина, и тряпица свесилась, Фотограф сел на постели): у самого двое детей, младший в седьмой класс ходит, тоже вдовец, говорит хозяйство в четыре руки поднимем, слава богу сама еще справляешься зачем чужому носки стирать на свадьбу-то пойдете со мной, на свадьбу надо, чтобы парюю.

Размесил дождь глину на деревенских улицах проваливаются вязнут парадные туфли уходят в грязь начищенные выходные башмаки, но выше все свежее глаженое чистое — ожидают молодожены, стоя обруч на крыльце нанашей, посаженных родителей, самых дорогих гостей. Утром вылезли уже расписан-

ные в районном загсе из украшенной цветными лентами шарами целлулоидным пупсом на радиаторе машины, теперь принимают поздравления (едкая помада на щеке невесты подвенечное платье до полу жениховский черный костюм две золотые коронки — жених цыганист). Оркестр охрип под дождем, блестит медь от воды, музыканты вытирают ладони, но в очередной раз нанаш поднял руки, музыка забила загудела, новая пара гостей входит в ворота с подарком, схваченным ярким бантом. Невеста стоит с откинутой с лица фатой статная широкая в бедрах кажется старше жениха пышной зрелостью слабо и медленно улыбается, скрывая зубы, молодой же деревянен теребит в руке края подвенечного стыдливого газа, надувает желваки на смуглых бритых щеках. Чередуются приветствия чмокают умиленные губы скоромерно цокают языки скользят нескромные взгляды по невестинному животу дрожат в ушах золотые серьги толстые руки подпирают груди под красными кофтами перетаптываются ноги в жмущей обуви облегают тела зеленый синий кримплен цветастый дефицитный шелк плывут арабские духи с красной москвой, и в сотый раз размешивают ногами грязь кухонные девки и тетки, на столе перед домом расставлена закуска под последний пропой, и клюют внизу серые скучные куры. Последняя пара званых отступилась от новобрачных, подобрались женщины и одернулись мужики, глотнула воздуха хозяйка рядом с Фотографом, нанашка пронзительно позвала за стол (дождевые капли в глиняных тарелках и в глиняных кружках и в граненых стопках и в складках целлофана, которым прикрыт хлеб). Из дома побежали распаренные бабы в разъезжающемся на груди гипоре, понесли широкие тазы с дымящейся говядиной картошкой голубцами в виноградных листьях, забулькал в графинах самогон, стали говорить тосты. Пили за молодых (цыган скалился не выпускал конец невестинной фаты, она же прикрывала глаза клонила голову набок для обязательных поцелуев) за родителей за мир за партию, и с за-

боров и с деревьев из-за хозяйственных построек сараев и хлебов смотрели лица подростков и лица детей, и наряженные с голыми руками девки сбились у ворот вороватой стаей. Плывет сивушный и мясной дух тянется застолье нетрезвая уже музыка ударяет по недосмотру на полуслове, когда очередным гостем сказано, про жемчужину, но не договорено про оправу, от самого першит мутит от вида разваленных мясных залежей, хозяйка подсматривает за ним — и Фотограф бодро подливает им обоим вина. Пусть не смотрят на них явно, она-то знает, как едят их глазами, едва отвернутся, да только нет в том греха, что пришла с городским гостем, будто с законной парюю, раз вдовья постель остается прохладной с ночи и не приходится вскакивать разгоряченной присесть над тазом, поливая кипяченой водой из баночки, не для кого нести смоченную в тепленьком тряпочку для обтирания, Фотограф же жует с усердием. За столом сидит прочно даже в том, как верхнюю пуговицу расстегнул — повадка, руки как у мужика от запястья широкие покрыты волосами вены пучатся, значит, сильные, не обратил внимания на кофту, что впервые надела, побрызгала под мышками из железного баллончика, теперь беспокоится за новую хорошую вещь, хоть и написано, что ткань не портит. И даже ростом показался Фотограф выше, когда вставали из-за наашиного стола, оставив еще водку в графинах и недопитым вино; пошло движение среди тех кто стоял у ворот, зажглась над крыльцом электрическая лампочка, хоть едва начало смеркаться, и в этом ненужном искусственном свете было что-то казенное; молодые исчезли в доме, гости запереминались зашушукались, стоя в ожидании группами, говорили о своем, будто забыв о свадьбе но и в этом было что-то натянутое. Вдруг все смолкло, повернулись лица к дому, на крыльце были молодожены торжественней и застылей прежнего, остановились на постеленном ковре, глядя в сумерки, и нааши стали по обе стороны с высокими подсвечниками в руках, обвитыми бумажными цветами. К свечам

поднесли огня, зажелтели бледно два пламени, от одного к другому протянулся, повис длинный расшитый рушник, отделив молодых; медленно ступая — тронулись: нанаша, молодожены на шаг позади рука в руке, гости парами (Фотограф с хозяйкой в третьем ряду), коротко переставляя ноги. Едва процессия вытянулась из ворот на треть, раздался девичий писк, два-три голоса подхватили, засвистел в пальцы парень, другие заулюлюкали, с десятков девок истошно завизжали запричитали завскрикали, среди них определенно была и воровка, та, что сосала леденец у колодца, та, что смотрела на ласточек, сминая саман ногами и накликая теперешний дождь, та, что прежде первых двух забралась в красный виноградник по имени Лидия, и, если б у нее было имя, так могли бы звать и ее. Крики звучали тесно, душно и от этого — еще более непристойно, и белые птицы слетали, вспугнутые, в сумерках с деревьев, как белые клочья. Колонна повернула в боковую улицу и прошла мимо церкви; староста, стоя на паперти с непокрытой головой, истово крестил воздух, и пола светлого пиджака оттопыривалась, но на него не смотрели, лишь нанашка подняла выше свою свечу, потому он (знала деревня) мог и навести порчу. Девки бежали попереди, держась, как прежде, стаяй, вертели телами дули на свечи с визгом поднимали юбки, тыча в невесту пальцами, делали вид, что хватают грязь с земли, чтобы вымазать белое платье, но мертво глядела невеста, прямя спину, сведены были гладкие щеки жехниха и стыли цыганские белки, блаженно и истово глядела нанашка, муж ее загораживал свой огонь корявой ладонью. Хозяйка подняла на Фотографа блестящие глаза, уж не боясь, что из толпы заметят ее блеск: тот смотрел торжественно и прямо, суровость к лицу (сама прожила порядочно), так и надо бы им идти, отдельно от забрызганных и ошалелых, бегущих по улице впереди и обочь. Пальцы цепко сжимают пойманый локоть бедро мягкое жаркое на глазах светлые легкие слезы, —
и Фотограф не отстраняется, вот и портрет женщины:

обрезать неприглядные края затуманить при печати резкие черты ретушью свести двусмысленные пустоты — не слышно ни визга ни крику, только два помаргивающих глаза колеблющихся свечей (два туманных одувана на негативе при долгой выдержке) только слезы благодарности (всегда себя соблюдала, можно людям в глаза смотреть) только бледность чистого лба, будто сама невеста и невинна, только бумажные цветы, бессильно выющиеся у основания свеч, соединенных чистым рушником, за который не переметнуться грязи, только бледная фата, развевающаяся над ними, как хоругвь, —

только взгляд объектива, только спуск затвора, только тяжесть камеры на шее.

Тут улица открылась от огней, непристойные крики смолкли и девки брызнули в стороны, снова, будто в воду плашмя уронили сырую слегу, ударила, всплеснув, музыка, открылся сцепленный из кошм и ковров шатер, горящий изнутри ярким душным пламенем. Стали затягиваться по двое, протискиваться за прямоугольный — вдоль стен, с одной разъятой стороной — стол, торопясь занять места спинами вовне, лицами — к центру свадьбы, но вот дошло и до внутренних лавок, и набралось за столом жениха народу вчетверо против нанашиного, и безмужние девки и парни заняли край ближе к выходу. Вглядывался Фотограф в лица, воровку не мог угадать: все однопородные смуглые с густо-русскими бровями, да и сама нанашка той же вороватой породы, с тем же голосом, грудным и визгливым (мелкий таз низкий задок шалый взгляд темная стрижка) — вскрикнула, едва расселись, влезла на стул во главе стола взметнула в руках непользованное несмятое белое полотенце, стала танцевать и петь и нахваливать и молодую и расшитое полотенце из приданого сундука, где скоплено было таких за сотню, и пошла от нее девка с этим полотенцем и с подносом, на котором рюмка полная зельем, к первой паре. Выпил мужичок, потрянул мошной, бросил кредитку на поднос, пока жена

рассматривает свертывает попку. Как поет нанашка, как пляшет, так и платит гость. Дошло до них, встал Фотограф, показался хозяйке еще шире прежнего, махнул рюмку и кинул на поднос четвертную под смех и хлопки и завистливые бабьи взгляды, которые — хоть и опустила глаза — ловила свертывая рушник дрожащими руками, —

нечаянный гость, гордость и стыд. Растет трехцветная грудка на столе перед нанашами, и вот затихла свадьба, начался счет. Затаили дыхание по всему длинному столу ждут, когда будет сказано, сколько надарили, сколько заработала нанашка для молодых на невестину добре, но прослушал Фотограф сумму, не узнал четырехзначное число, —

у конца ковра, что был за спиной, у расшитой богатой стены — девочка десяти лет в сандалиях на босу ногу (круглое теплое плечо вплотную) в ветхом платьице, с пустым обшарпанным кувшином. Кто-то послал ее за вином, беспутная мать пьяный пропащий отец из тех, кого уж не зовут на свадьбы, когда сыто и пьяно — не откажут, и стояла девочка по-видимости безучастная, дожидаясь когда пойдет тяжелая гульба, но глазки (видел Фотограф) воровато бегали, она уж заметила, должно быть, к кому при случае подойти. Горячее мягкое бедро мелкие вороватые пальцы темные колени покачивание лодчонки, идущей поперек течения, глянцевая веточка здешней породы еще некорявая бледный побег едва намеченные почки сухой заплесневелый кувшин, кажущийся деревянным, как перезревшая дыня, какими полон сад. Хозяйка поднесла еще водки, что-то есть в ней от нанашки, когда танцевала свой смуглый танец, от чужого лица в наливающимся серым светом круге воды, от сада, в котором оранжевеют тыквы в потемках среди лопухов, над которым стоит седой под ветром тополь с выгнутой к югу высокой кроной (серебряное перо в чернильнице сада, долгая выдержка и при полной луне). Вот дошло дело и до шалаша, ибо модная музыка сменилась двумя скрипками бубном баяном, и хозяйка

потянула Фотографа туда, где плясали бабы мужики вскидывали косолапя жилистые руки вились и жеманились девки пьяный щербатый парень расталкивая других щипал и хлопал одну по спине между лопаток (сумка с аппаратурой под лавкой). Схватились Фотограф с хозяйкой принялись перетаптываться вспомнил, как видел ее за смородинным кустом, это она срезала виноград, покрикивая на нерасторопных парней, она месила глину босыми ногами, напевая и подбадривая баб (недостроенный дом на краю деревни, бурая деревянная церковь). Последний раз воровка смеялась за его спиной там, где только что пиликала и звенела музыка, и он обернулся: хозяйка рассказывала о чем-то соседке, та прыскала, прикрывая красной ладошкой золотой рот.

За шатром пьяно пели и взвизгивали, небо было темным, без звезд, воздух сыр и свеж, в шалаше мерцал огонь; легко было представить, как ходят легкие мазки пламени по корявому переплету с торчащими между веток соломинами, с дрожащим ивовым засохшим листом у самого конька. Горячие пальцы держали за руку, оскальзываясь, прижимался он к мягкой и теплой юбке, пальцы не держались на шелковом плече, вишневое дерево нависло темной грудой, в изломах его была натуга, как если бы в суставах отлагалась соль. Виделись с отчетливостью наросты, неровности, запах тления переполненного сада был сладок, сад — выпукл, грустно мерцал огонек на оплавленном огарке, пустившем непрозрачную слезу. Сквозил обобранный виноградник, придвинувшись к ветхой стене сырого дровяного сарая, сомкнулись ветви груш, пахло по-домашнему невыбитыми коврами остатками пищи от обеда, рос бурьян и мерцали как лужи сладкого молока забытые патиссоны. Стопа учебников с раскрашенными цветными карандашами крупными буквами на обложках, сношенные туфли с буграми на внутренней стороне у начала большого пальца, обертки дешевых конфет, сложенных для игры в фанты, изогнутое коромысло. Плетеная корзи-

на перевернута, рана на боку (свежераздробленные прутья) салатова. На черной пластинке с красным кружком этикетки записан мужской голос (связка ключей в дорогом кожаном футляре и потушенная папироса того сорта, что Фотограф никогда не курил). Наконец, попала в кадр и оскальпированная кукла с круглой дыркой на месте прошловременной нейлоновой прически, с раскуроченным механизмом для открывания глаз и с целым — для произнесения слова. В рост было не втиснуться, пришлось спуститься на корточки, подстил был влажным и теплым, запах мыла и чистого, но затхлого сыроватого белья, волосок и чужие губы, жесткие и сухие, леденцовая сладость на месте чужого языка. Первым, что увидел Фотограф, когда проснулся, был именно леденец, зеленоватый истаявший язычок с одной стороны прикушенный, в зазубринах, прилепившийся на краю тумбочки, наскоро склеивший столешницу и серую кружевную салфетку. И только потом: мокрый круг на дощатом крашеном полу, рядом кружок поменьше, фотография изможденного мужчины на стене (траурная рамка), вторая примятая подушка рядом, сумка с фотоаппаратурой возле двери у порога. Радио говорило, что дует с севера. Фотограф вышел во двор, посмутнело, хозяйка была у плетня, косынка на голове, низко повязанная, голубоватое ситцевое платье (для работ по двору). Фотограф встал рядом (так и есть документов не оказалось, отсидживалась себе без прописки). Двое милиционеров (у того, что младше, полы шинели коротки по коленям) вели воровку, но не посередине, по обочине. Она несла в руках чемодан, лицо незнакомое, серое, злое, немолодое, подол длинный, плащ реглан, фигура бесплечая, на ногах ботинки со шнуровкой, похожие на мужские и измазанные. Молодой курил папиросу и взглядывал за плетни, где виднелись лица, другой смотрел под ноги, сплевывал, лицо было мятое. Все трое свернули за угол к реке, и Фотограф, перейдя двор по диагонали, смог проводить их: ранняя река, клубящаяся паром, смутное поле, три фигуры

Ближний круг

— две мокро-синие одна серая маленькая, — спуск затвора, перевод кадра, вечное опасение не царапает ли рамка пленку внутри камеры. Левее — неровный край давно не чиненного плетня смутная вертикаль (изогнутый серый потек кроны тополя, как восковая слеза) три пятна фуражка на голове косынка другая фуражка чуть ближе и ниже: затвор, щелчок. Беседка вышитый рушник хозяйка улыбается, склонив голову набок не разнимая губ: снимок на память.

ОБРАЗ ЖИЗНИ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК

Ряд понятных затруднений, —

ясность изображения — неоспорное достоинство, простота хуже воровства, условны законы геометрической оптики, выбор кадра не поддается заведомому расчету, содержание — дань ленивому зрителю, правила композиции — лишь прием обучения, результат не соответствует замыслу, задача невыполнима, —

как в самом деле одними прямыми нарисовать местность и храм, как передать гласными и согласными музыкальную фразу и как остановить на пленке образ жизни, утекающий и скользкий.

Когда не хватает средств, берут в долг — у воображения (есть ли оно у твоей камеры), но и оно — мелочный кредитор, строгий топограф, перед ним нужно отчитываться, ему должно от чего-то отталкиваться, привязаться к какой-нибудь точке во времени и в пространстве, что ж, начало координат есть — середина жизни (на время ты уже не так щедр, но до пространства по-прежнему жаден), отсюда видно и туда и сюда. Там, за прозрачной датой твоего появления на свет, начинается история, сперва генеалогия, похожая на ветвистую молнию, потом самозванство, семь дней творения, тьма над бездною и геология; здесь тебя завтра не будет, второе пришествие, коммунизм, апокалипсис, космос, черная дыра, —

и ты со своею треногой, с глупым приспособлением для фиксации на светочувствительной эмульсии своих случайных впечатлений (и неспособностью к философии) — лишь мгновение,

в шутку размазанное на столько-то десятилетий и застрявшее между двумя географиями.

Итак, межсезонье; то ли ранняя оттепель, то ли поздние заморозки, нечто среднее между весной и осенью, между осенью и весной, так или иначе — подошвы скользят, подталый пирог на сырых деревянных перилах (примерзлые сухие листья вместо начинки), беспородный парк в неожиданном снегу, и деревья голы, запущена старая усадьба, барский дом каменен, из окна флигеля вид на реку, на белую обшарпанную ротонду, чувство, что ты слишком легко одет и ушедшей молодости (как при любовью нечаянной оккупации), сквозняки и печаль по дому, —

вот вам и пейзаж, сквозь него проступают черты женщины (ибо жизнь — предмет, несомненно, женского пола), женщины, как сезон, как бессезонье, как ландшафт, как горы или как город, как пустые дубы на склонах весеннего ущелья, как державный камень, мокнувший в воде фиорда, на котором встала одна из грозных северных столиц, женщины как женщины.

Она — ветрена и болтлива и тебе не принадлежит. Твое чувство к ней летуче — как что? — как пыльца, как песчаный узор в донках, как сентябрьская паутина, —

летуче — как сентябрьская паутина:

это и желание ею обладать, и предчувствие разочарования, любование женским кокетством и боязнь отметить слишком явные несовершенства, это — флирт, это игра, это — случайное очарование. Коли так, придется поместить ее в самом центре, поселить в самом Центре, наречь ей имя, как церкви, позаимствовав у топонимии Замоскворечья, посвятить ее Кадашам или Яузе, Полянке или Ордынке, Первому Монетчикову, Климентовскому, имя-междометие, имя-цезура, дать ей голос, нет, голос не надо, ей нельзя двигаться, нельзя дышать, слишком велика экспозиция в полутьме, лучше прописать ее в полуобставленной комнате с видом на купол оставленного под складское по-

мещение храма без креста (и некуда сесть вороне), подмешать ей в жилы какой-нибудь мусульманской крови, кавказской или татарской, наделить глазами с неуловимым выражением буддистского божка или китайского пикинеца, а там и окрестить, фамилию подобрать старинную, русскую, семинарскую и напоить до полпьяна. Наверное, так могла бы выглядеть твоя вдова. Теперь — заряжай пленку, вместо соития ограничься теплообменом (для чего достаточно взгляда из-под темных коротких ресниц и бледной, изображающей усталость и отражающей замедленный ток крови, улыбки); она, по-видимому, чья-то любовница, может быть — чужая жена, грезит родить щекастого малыша тому, кого подберет для этой цели (естественное стремление здоровых клеток к делению), все это, безусловно, скучновато и довольно досадно, но останется (и это уж забота фотографа) за краем рамка, не придвигайся к ней слишком близко, обладание не дозволено, возможно только касание, нечаянное пожатие пальцев, стеклянное соединение рюмок, теперь замри, ибо чересчур чувствительна пленка, ни шороха, ни вдоха, ни опускания глаз, вот и щелчок, моргнули лепестки объектива, произошло невероятное, то, что неуловимо, кажется, остается жить.

Ностальгическое ремесло, химерическое существование, в чем назначение этой жизни — только в ее образе (и в утилитарном смысле эта жизнь совершенно бесцельна); есть, конечно, и другая гипотеза, по которой смысл бытия — в его длительности, в протяженности здоровья и заботах о продолжении рода, но она представляется достаточно плоской, раз полагает сущность предмета в его же физическом свойстве, к тому ж — столь откровенно относительном; и здесь было бы к месту разобрат по квадратикам, разъять по молекулам образ твоей жизни, но самому тебе это не под силу, получилась бы невнятица: перемена мест, надежды на счастливую встречу, простые радости вполне метеорологического свойства, гул ресторанного за-

ла, прихлебывание коньяка, болтовня, скука в поездах и дрема в самолетном кресле, блуждания по чужим городам и по незнакомым горам, вольная домашняя суета и покойное смирение выполнения урока, и еще что-то, чему ты не знаешь названия, похожего на ожидание свидания и страх небытия, на предупредительное сердцебиение и сладкую горечь обиды, на трепет перед тайной, наконец, и на заботу нечаянно ее не отгадать, —

отгадать, как вот эту женщину между Востоком и Западом, черты которой просвечивают в задуманной композиции. А ведь это не представляет труда. Результат будет схож с поездкой в ненужные гости, с утренним походом за кефиром: черты ее лица тут же расплывутся, пикинез зевнет и прикроет глаза, свернется мусульманская кровь, опошлится славянское имя, таинственный божок предстанет дешевой бездушкой, — ее пальцы холодны и влажны (гипотония, должно быть), ноги некрасивы (чересчур толсты), зад низковат, волосы негусты, не мыта на кухне посуда, стоптаны домашние тапочки, пустовата комната, и шерстит чужое одеяло; нет, она найдена тобой для другого, призвана для иного — помочь нарушить прерывистость бытия, забыть о разъятости мира, заставить попасть в сосуд подряд хоть несколько капель, замедлить бег песчинок, остановить хоть ненадолго неотвратимое таянье льдинки в теплой воде и почувствовать на лице озноб и жар от тайного дыхания (только взгляд на икону незначай при беглом свете свеч, только пригрезившийся во сне самый невозможный кадр заставляет подчас так биться сердце), —

это дыхание темного, дальнего, вечного...

Фотографирование — занятие меланхолическое, оно обращено на развалины настоящего, элегически влюблено в руины того, что совсем недавно обещало стать будущим (загляните-ка в свой фотоальбом); вот и этот снимок, сколь ты ни тужься, запечатлеет лишь нечто между расписанием усвоенных уроков и расписанием грядущих похорон. Пожалуй, на этом месте дол-

жен бы стоять дом. Не казенная комната (хоть и с ковром) в давным-давно национализированной усадьбе посреди беспородного парка, что некогда построил на краю нынешней Москвы Воронихин (тот самый, кто придумал Казанский собор, тоже ведь оказавшийся не вечным), не старинная столица, что держится на плаву всеми своими мостами, не коттедж с каминном в далеких горах (есть биде, но нет воды), не стокгольмский шератон, в коридорах которого не услышишь ничьих шагов, не купе поезда, из окна которого ночью ты вдруг увидишь светящийся и плывущий, растущий и парящий Кельнский собор, и не хороший автомобиль, наконец, в котором по бельгийскому бану ты приедешь в город Брюгге, о каналах которого патриоты думают, что они после очистки не пахнут, и воздух которого ты уж никогда не забудешь, —

дом, по которому скучают в пору нежданно повалившего снега, худой одежки и потерянной молодости, дом, в котором лелеют некий домашний союз; если он счастлив, то это — мысли во сне о другом, соединение как дыхание, лесть и ирония пополам, набор ритуалов, компромисс между детством и зрелостью (никогда не понять, кто кому дочь или сын, мать, отец, любовник или подруга), немучительная расплывчатость признаний, гербарий благих обещаний, возможность поймать вылетевшее слово, интимные амулеты, общая любовная легенда, кое-как утаенные некогда грехи и возможность болеть по уговору — сегодня ты, завтра я. Но ты выбрал другое, Фотограф, вот твой образ жизни: глотай сиропную хину сиротства, пей пронзительный неуют знакомых издавна улиц; этот квадратный километр пронизан токами незаживающего детства, как и вся твоя жизнь пряна возбуждающим неустройством пополам с обманной устроенной прочностью; здесь, в середине, рвутся многие связи, на глазах умирают телефонные номера, новые не вырастают, и ящерица бегаёт без хвоста; где родной угол, в котором ты всегда был чужаком; а ты давно не равен сам

Ближний круг

себе — рябь времени, наложение будущего и прошедшего, здесь ты уже стар, там ты еще юн. Середина жизни, поэтому ты и пришел к этой женщине, чье лицо просвечивает сквозь изображение, куда ни наведи камеру; поэтому ты и поселил ее здесь, и она теперь — как сувенирный колокольчик из забытой заграничной поездки, как отзвук синонимической элегической пушкинской рифмы, как горсть милосердия, как награда за грех, покаяние и обет.

Итак, промежуточность между двумя географиями: ежедневный утренний ритуал еще не тяготит, смена времен года по-прежнему волнует; шарик все еще бежит по кругу, пущенный уверенной рукой, еще рябят фишки на зеленом разграфленном сукне, еще не вытолкнута в щель твоя неразменная банкнота, — и новое случайное чувство представляется неизбежным. Замокворечье — место свидания, — здесь некогда проходила дорога из Кремля в Орду (потом ее обставили византийскими храмами); время столкновения осени и весны, но — оплодотворение невозможно, разрешено лишь касание, и набухает капля под носом простуженного крана; острие иглы воткнуто между двумя великими континентами; равновесие неустойчиво, кратка тишина между проворным скоком часов, между двумя ударами хрупкой мышцы, нагнетающей кровь в эту вот жилку на виске; и слеза готова оборваться и покатиться по щеке.





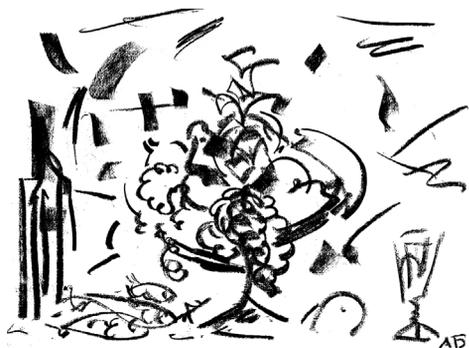








Из романа
«Дорога в Рим»
(1995)





ФОНТАН И АННА

Все мы, настроенные хоть чуть суеверно, — каббалисты своего рода: мы воспринимаем текст нашей жизни как криптограмму, которую надеемся разгадать, прислушиваясь к предчувствиям, доверяя приметам, коллекционируя совпадения, переключки, знамения. Но шифр надежно скрыт от нас, и потуги наши бесполезны, — кто в самом деле надеется, даже проникнув в замысел рока, хоть в чем-то его изменить. Так что любопытство наше сродни дерзанию Одиссея, когда он, отвернув прочь от Итаки, взял курс на Геракуловы столпы, отлично зная, что за ними в Океане — вода, одна без края вода... Так вот, о совпадениях, — из них соткалось начало этой истории, и само их обилие, как известно всякому неوفиту каббалы бытия, вернейший залог ее подлинности, — расположим их в хронологической последовательности.

Осенью уже описанного, преодолительского года у меня был мимолетный роман с полячкой из США по имени Лола, красавицей и авантюристкой — правда, несколько меланхолического толка; мы познакомились с ней на проводах моего приятеля Оси, переселявшегося в Америку по израильской визе, с ним мы еще встретимся через сколько-то глав, — не знаю уж, кто ее туда привел. Мы сошлись в ее номере гостиницы Берлин; мы вместе отравились в Ленинград, были в Кировском на *Бахчисарайском фонтане*, а трахались в ее апартаментах в Московской; мы вернулись в Москву, спали в Переделкино у Дуды, и только в последнюю ночь

перед ее отъездом, когда я заявился к ней в Пекин с большим букетом роз, в темноте она пробормотала *not so gentle*, и я понял, что никогда больше ее не увижу. Это было печально, я, пожалуй, был покорен ею, припухлыми протонародными губами, слavianским разрезом глаз и рисунком скул, ее грудью с вкладки *Плейбоя* — она и впрямь какое-то время была секретаршей Хью Хефнера, — красотой ног и рук, — и готов был к продолжению. Но — что верно то верно — я вел себя утомительно влюбленно, бывал прилежно нежен с ней, впрочем, даже если б не эта скука, нищий московский литератор — последнее, что могло понадобиться ей в жизни, которую она торопливо проживала по законам трансконтинентального воздухоплавания. — И, перечитав этот абзац, я обнаружил, что, пожалуй, ключевыми здесь являются слово фонтан и само имя Лола.

Перелистаем еще пару лет. Похмельным осенним утречком я завтракал с приятельницей все в том же *Национале*, — ныне захваченном австрийцами, и нам его, пожалуй, уже не отбить, — как заметил женщину, сидевшую через пару столиков, откуда долетали обрывки фраз: шахматная фигурка, головка в темных кудрях, интернациональное выражение глаз, довольно заметный акцент, — и при всем моем неиссякающем интересе к хорошеньким дамам, все ж необъяснимо, отчего я никак не мог отвести от нее глаз. Не стану врать про предчувствия, сам в них едва верю, — и это при том, что именно предчувствия предостерегали меня не раз от серьезной опасности, так что неверие это, конечно же, легкомысленно, — но я как будто узнал ее. Нет, это не было скучновато-обыденное дежавю, но — тормозящее бег времени узнавание именно, узнавание чего-то далекого, воспоминание о бывшем с тобой и не с тобой, короче — то самое, что понятно без объяснений любому приверженцу учения непальского принца. Приятельница моя, естественно, заинтересовалась — что я такое там увидел, пришлось объяснить ей, что ломаю голову — кем может быть вон та женщина — одна в

двенадцать дня в *Национале*, беседующая на плохом русском с двумя командированными из провинции бабами, явно ей незнакомыми, соседками по столику. Должно быть, прибалтийская гастролерша, заявила моя приятельница, и это, кстати, было сносным объяснением. Два слова об этой моей вполне необязательной знакомой: она служила методистом на Выставке достижений народного хозяйства, а я писал тогда статью про этот химерический ансамбль для журнала по русскому подпольному искусству, издававшегося нелегально в Париже, и для лучшего знакомства с предметом, всякий знает, куда и помощника нужно иметь под рукой, ближе всего — в собственной постели. — Итак, случайное впечатление в *Национале* во время завтрака, посвященного обсуждению особенностей архитектуры и планировки парка столичной ВДНХ.

Еще через неделю я был приглашен — по поводу, кажется, очередной годовщины Октябрьского большевистского переворота, как всегда говорили в нашем кругу, — на обед к Вике, той самой Вике, коллекционерше и галерейщице, некогда — рыжей бестии, тогда — уже стареющей даме, лесбиянке по концепции и нимфоманке по убеждениям, много тратившей на любовников и молодых самодеятельных живописцев, хозяйке знаменитого в те годы салона на последнем этаже генеральского дома на Садовой, салона, посещавшегося важными иностранцами и московской богемой, причем среди первых бывали персоны и в ранге послов, среди вторых — маститые топтуны, и о котором ходила слава, что салон — да и сама хозяйка — содержится КГБ, в чем безусловно была доля истины, я еще скажу об этом в другом месте. Чуть припоздав, я застал уж за столом целый винегрет: тут был и настоятель храма в Антиохийском подворье, в черной рясе, продолжавшей смоляную бороду, с косой на затылке, частью ливийский дипломат, частью сирийский соглядатай; художник Толя Л., писавший все больше траву, но не в уитменовском смысле, — впрочем, вряд ли он знал, кто такой Уит-

мен; цыганский еврей Фима Д., персонаж колоритнейший, специалист по молоденьким девчонкам и таборному фольклору; мексиканский атташе по культуре, подозрительно блестяще рассказывавший наши анекдоты с грузинским, еврейским или чукотским акцентом, позже застреленный на каких-то шпионских тропах; Ксения, — и она, Анна.

Я тотчас узнал ее, она меня нет. Теперь я без помех и вблизи — меня усадили ровно напротив — разглядывал ее лицо. У нее были чуть водянистые зеленоватые глаза, темневшие от сантиментов и неожиданных приступов ярости, в чем я смог убедиться несколько позже, прямой, чуть закругленный нос, строго очерченные губы и прекрасная посадка головы; она была красива особой, аристократической некрасивостью, столь далекой от массовых образчиков банальной смазливости с обложек иллюстрированных журналов, она блистала породой, будучи совершенна в своем роде. И оказалась американкой. Я совсем иначе представлял себе жительниц противоположного континента, пусть даже и демонстрирующих результаты двухсотлетнего отбора — крупные блондинки с хищными пастями и веснушчатые носами, на лицах которых написано-таки их фермерское происхождение, впрочем, выяснилось, что она итальянка, хоть живет в Штатах полтора десятка лет. Чем она занимается в России? — Шершеневичем. Иезус Мария! — но скоро с окраин русского футуризма разговор перескочил на последнюю эмигрантскую книгу Лимонова *Дневник Неудачника*, и я заметил, что эмигрант и неудачник — это почти синонимы. — Я тоже эмигрантка, — сказала Анна, но я — удачник; милая, милая, нужно было тогда же постучать по дереву, благо в Викиной квартире было сколько угодно дерева, ну хоть по резному буфету ложноанглийской наружности, на худой конец сплюнуть три раза через плечо... Естественно, после нескольких бокалов шампанского и кое-какой севрюжки мы, не сговариваясь, вышли из-за стола и отправились по закоулкам огромной квартиры смотреть карти-

ны, и за ближайшим углом перед первым же полотном бросились друг другу в объятия. Позже она обронила как-то, что у нее *это* бывает или сразу или вовсе не бывает, — точно как у меня, я всегда любил афоризм покойного Жени, что, мол, ухаживание — дело не барское, и не нужно обращать внимание на хамоватую форму, на самом деле здесь провозглашается нежнейшая истина электротехнического толка, что в любви главное — короткое замыкание.

Но все это к слову. Тогда — мы выскользнули из салона, мы выбежали на улицу, мы схватили такси и с разбегу очутились в моей кровати, хоть и жил я у черта на рогах, в Бибирево, страшно вспомнить. В сумерках она собралась было уходить, но мне не хотелось ее отпускать; вечер только начинался, у меня были планы и иных развлечений, но я удержал ее — с тем, чтобы под утро наградой мне был ее тихий лепет *как хорошо, что ты уговорил меня оставаться*.

Нет, у меня и в мыслях было искусственно длить эту связь. Какая корысть, мне ли было не знать, что ничего из этого все равно не получится — чересчур далеки наши континенты, слишком прочен занавес, фатально неисполнимы даже простые желания, а значит — легковесна и неверна интернациональная любовь. И простота нашего соединения была как бы ответом на столь печальное положение дел, единственным ответом, который мы могли дать. Раз так, куда как просто было перешагивать условности, отбрасывать разницу положений и воспитаний, привычек и языков, как легко обнимать и ласкать друг друга, как славно вышептывать англо-русскую нежную невятицу, как сладко и щемяще вдыхать аромат краденой у случая взаимной найденности, срок которой заранее определен стоящей в ее паспорте визой. Быть может, подобные обстоятельства — идеальны для любовников: меня, во всяком случае, ничто не отвлекало от ее прелестной женственности — ни призрачность взаимных надежд и расчетов, ни суетливые и докучные мысли об

общем завтра, я только наслаждался ее полной грудью при миниатюрности фигуры, укромностью всего ее тельца, дышал ее волосами и ее лоном, восхищаясь неожиданными подробностями, которые мне удалось сразу же угадать: скажем, когда она кончала, матка ее принималась столь дивно пульсировать и трепетать, что шейка подчас показывалась наружу, и уже к утру я наловчился успевать поймать ее губами или хоть на миг дотронуться языком.

За завтраком она очень смеялась, когда я рассказал, что однажды уже видел ее в кафе и принял за вильнюсскую проститутку; впрочем, она потребовала, чтобы я назвал цвет ее блузки и цвет ее юбки, я назвал, не забыв даже серебряный поясок на талии; она перестала смеяться, задумчиво посмотрела на меня. Мы много говорили в то утро, как будто торопясь. Выяснилось, что она живет в Индиане, где преподает русскую литературу в местном университете. Я обронил вскользь, что у меня была знакомая из этого штата. Лола? Я был поражен: ты ее знаешь? — Мы подруги. Я уже догадалась. Она рассказывала мне, что был у нее в Москве один сумасшедший русский...

Пусть другие называют это игрой случая. Но только я, — а, кажется, и она, — знал, что означает подобное наложение совпадений. Здесь уж одно из двух: или вы метафизик, о которых еще Юнг говорил, что они — лишь шарлатаны от психологии, или артист, и в последнем случае вам тут же становится очевиден прозрачайший художественный замысел — ясности пейзажа за окном. Конечно, нам обоим претила любая предумышленность, она только вредит поэзии, так что мы принялись как бы исподволь, невзначай грести в одном направлении. Среди многих определений любви хорошо такое: нарушение дискретности. Так вот, мы взялись всячески день ото дня попирать какую-либо дискретность, третировать ее, пытаясь жить, фигурально говоря, не разнимая рук. Естественно, повседневная реальность покушалась на нашу пастораль, облакаясь то в форму вах-

тера в общежитии института имени Пушкина, куда Анна привезла кучку американских балбесов — своих студентов, то прикидывалась расписанием ее занятий, то и вовсе оборачивалась какой-нибудь бытовой мишурой, но мы-то, бессознательно усвоившие общий план, в котором наше странное знакомство было лишь завязкой, успешно разоблачили все эти подвохи, послали к черту КГБ, администрацию ее института, атташе по культурному обмену американского посольства и кое-какие мои — впрочем, и без того необременительные — жизненные обязательства.

Она оказалась итальянской графиней, хотя очень не любила вспоминать об этом: Америка, как Советская власть, отучает помнить о титулах и голубой крови; родилась в родовом поместье под Туринном, католичка, в отрочестве была сдана в закрытый пансион для отпрысков хороших семей женского пола — в ее фамилии присутствовали и *де* и *ла*; оттуда она выпорхнула восемнадцати лет и девицей, отчего, по-видимому, и сбежала тогда же в Калифорнию. Похипповав по пляжам Фриско, подцепила парнишку из американской глухомани, который и стал ее мужем. Они зажили в провинции, она училась в университете — русскому, он уже преподавал, бассейн три раза в неделю, умеренный феминизм, бег трусцой, холестерину — бой, необременительный радикальный либерализм, парти у соседей по субботам, диета, лет'с гоу ту фак? — ОК, лет'с гоу, — добрая американская университетская пара, так и жили мирно — вплоть до развода, который случился после одного из первых ее вояжей в Россию в начале семидесятых. Дело в том, что в Москве у нее произошел роман — нет, не с членом Союза советских писателей, даже не с филологом из университета имени Ломоносова, но с американским дипломатом, и этот роман аукнулся, подозреваю, в нашей с ней судьбе: как водится, дипломат работал на ЦРУ и привлек ее к светской жизни спецслужб, пару раз засветил на встречах с советскими коллегами, куда по протоколу ка-

ждая сторона является парюю. Так вот, о ее разводе: она получила славный дом в маленьком университетском городке: фотографии дома я видел много раз — американцы обожают фотографировать свою недвижимость и показывать изображения окружающим, будто собираются сейчас же ее продать, — Анна в садике, Анна у гаража и Анна на крылечке, Анна на фоне аккуратно стриженного газона, но больше других мне понравилась одна, где она стояла на веранде, на холодке, мечтательно вдыхая запах дерев и кутая плечи в тонкую оренбургскую шаль, что я ей подарил. Но все это — позже, пока же мы сидим вечер за вечером на моей кухне в Бибирево, пьем *Старку* — отчего-то это стал *наш* напиток — и говорим. Ее русский курс литературы XVIII века я дополняю посылно: скажем сообщением о том, что Фон Визин женился восемнадцати лет на богатой старухе восьмидесяти лет, с тем, чтобы выплатить карточные долги старшего брата. Или пересказываю ей только что написанную статью о ВДНХ: она знает что-то о тоталитарном искусстве, но имени Фрэзера никогда не слышала. Однако, ни *Старка*, конечно, ни биография Фонвизина, ни моя любовь — ничто не могло мне объяснить все возрастающую ее тягу, так мне заметную, пить темный яд русских горестей, безалаберности и величия, скуки пространств, медлительности времени, неуюта городов и первобытного животного тепла. Бесспорно, Россия способна на время отвлечь западного человека от хайдеггеровского неуюта бытия-в-мире, к тому Анна жила между двумя континентами, сама была бродягой и странницей, и, должно быть, пыталась залечивать свою неприкаянность русским наркозом, — так или иначе, — когда нас с ней выгнали из ее номера в ленинградской Астории среди ночи на улицу — там были и швейцары, и дежурные, и стертые хари, неотличимые одна от другой, — и я, не будучи трезв, конечно, расплакался от бессилия и стыда за свою страну, она сделала мне предложение...

Остановимся на минуту, я переведу дух. Не знаю, описать ли, вернувшись назад, как по ночам мы покупали в Бибирево водку у цыган и использовали милицейские машины в качестве такси — и то и другое вызывало у Анны изумление и восторг, — или, коли прыгнул вперед на два месяца, припомнить склизкий ленинградский декабрьский денек, хлипкий и смутный цвет неба и воды, когда мы, бездомные и промокшие, бродили по призрачному городу, и никто не хотел нам подсказать расположение консульства — ни дворник-ассириец, бородатый и кривоглазый, ни пьяная молодая еврейка, выкрикивавшая что-то из *Страха и трепета*, ни молодой негодяй с сергой в левом ухе и жирными русыми волосами, забранными в косицу, пытавшийся нам продать Данте в отличном состоянии *ин фолло*, — и Данте нас особенно рассмешил, хоть и над этим знаком в пору было призадуматься. Мы были беспечны, глупо, влюбленно и пьяно, но даже в беспечности этой, если оглянуться, была торопливость и судорожность, — еще бы, опасность была разлита в сыром воздухе, и мы глотали ее как *Старку*, и спешили, спешили, спешили, будто могли от опасности убежать — убежать здесь, в сердце одной из двух великих держав, которым принадлежали и которые несколько десятков лет только и пеклись, как бы им ловчее одна другую уничтожить. Тем естественнее прозвучало ее предложение среди мгливой бесприютной ночи, когда мы укрылись от ветра под глыбой темного Исаакиевского собора: предложение себя и свободы. Я мог бы увидеть в этом лишь женское движение, материнское желание приютить обиженно-го, христианский жест пригреть гонимого, но сколь ни был я пьян и спутан, я мигом понял, что она именно предлагает мне быть ее мужем и отныне защищаться вместе.

Мне тем более легко вспоминать пустяки и подробности нашего питерского рождественского вояжа, обернувшегося — так вышло — нашей помолвкой, хоть со времени знакомства не прошло и двух месяцев, что после я имел возможность мысленно

бродить с ней сколько угодно по промозглому городу в пропитанных влагою дневных сумерках — вдоль и поперек, — и в те полгода, что прошли до ее следующего появления в Москве, и потом, когда она окончательно исчезла из России, но не из моей жизни, ибо тогда, в июле, визу ей дали в последний раз. Конечно, нам следовало бы вести себя по-партизански, лелея свой дерзновенный план: мне бы тут же исчезнуть, чем что ни ночь спать с ней в одной постели в ее номере, давая взятки дежурным, ей бы — напустить на себя строгость, чем целоваться со мною за праздничным, общим с ее студентами столом в вечер Рождества — под шампанское, под недоуменными взглядами приставленной к группе стучачки-переводчицы, под треск бенгальского огня. Но если б мы не были упоены друг другом, не праздновали бы так шумно свое воссоединение, не умели наслаждаться именно этой своей свободой в столь неподходящих, на взгляд, обстоятельствах, то были бы не мы, не два дилетанта, как писала она мне потом под впечатлением, видимо, Окуджавы, но пара угрюмых заговорщиков, втайне вынашивающих индивидуальный проект детанта. Мы же чувствовали себя пред Богом безгрешными, как дети, как два очаровательных юных педераста, Шурочка и Николка, — они что-то рисовали или сочиняли, вполне необязательное, — которые вызвались на другой день быть нашими ленинградскими гидами.

Причудливая это была компания: мы с Анной, которая в своей шубке на фоне грязного и разваливавшегося на глазах некогда помпезного города казалась герцогиней, и двое херувимов, один маленький, в зипунчике, тесно подпоясанном ярким кушаком, и в кирзовых сапогах, другой высокий и чернявый, в длиннополом черном развевающимся пальто, взятом не иначе как на помойке. Мы путешествовали вдоль каналов, полных ржавой дребезжащей воды, мы бродили по вонючим рынкам, заглядывали в богатые, пышащие свечами и позолотой церкви, исследовали некогда парадные подъезды с чудом со-

хранившимися причудами в стиле арт-нуво, слонялись мимо складов и пакаузов, — Бог знает отчего, но все нам казалось восхитительным, — пока не пришли на незабвенный вокзал, откуда некогда шла первая в России железнодорожная ветка в Царское село. Мы уселись в ресторане под царским витражом напротив невероятной, резного дуба, огромной буфетной стойки — говорят, ее давно уже нет на свете, — пили дрянную водку, закусывая сосисками со жгучей горчицей и задубелыми бутербродами с тоненькими корками красной икры, и были счастливы. Помнишь, Анна, этот день? К вечеру, когда в зале зажгли огромную люстру, мы решили всей компанией ехать танцевать в валютный бар гостиницы Ленинградская. На привокзальной площади мы обнаружили кабинки для мгновенного фотографирования — в Америке это называется *фотомат*; мы с тобой втиснулись вдвоем, опустили монету в прорезь, и, кто знает, может быть в твоей вашингтонской квартире, в доме за углом от Адамс Морган, завалялись где-нибудь эти фотографии, получив которые, мы хохотали до слез: два тесно прижатых одно к другому, скошенных, раздутых по диагонали, пьяных счастливых лица — твое и мое...

...На ВДНХ я повел Анну светлым июльским днем, дня через три после ее приезда. На сей раз ее поселили в гостинице *Космос* — так, что окна номера смотрели прямо на парадные выставочные ворота, на могучую колхозную чету, водруженную на антик многопролетной тяжелой арки и вздымающую на вытянутых руках возвращенный и сжатый ею могучий золотой сноп спелой пшеницы. Я взялся объяснять Анне, чем отличается плодородие от чадородия, как она засмеялась и тронула меня за рукав. — Стоп, — сказала она, — я, кажется, вспомнила: ты говорил об этом на кухне, когда мы пили *Старку*, ты писал об этом... Я тоже вспомнил, как о том же болтал в кафе — в тот миг, когда увидел ее впервые.

Мы ступили под арку, мы вошли в наглухо огороженное от

внешнего мира массивным и высоким чугунным забором пространство, озаренное и согретое сейчас ярким летним светом. И прямо на пороге наши начальные дни стали возвращаться к нам. Ведь предыдущие трое суток мы толком и не были вместе, замороженные неисчислимыми фантазиями, бюрократически препонами и формальностями, что воздвигло государство на пути своего гражданина к иностранному браку. Все три дня мы как бы не могли взять нужную ноту, потерянную во время разлуки, и я чувствовал себя в той точке сюжета, когда внезапно перестает писаться. Мрачные мысли одолевали меня, на то были причины. Когда я встречал Анну в Шереметьево, ее около двух часов продержали на таможне, не попросив даже открыть чемодан, но все связываясь по телефону с неведомым начальством: букет завял в потных руках, когда она показала наконец из каких-то приграничных глубин, потерявших мистику, как прискучившая сказка, но не ставших доступнее от этого, маленькая, толкающая перед собой через пустой зал два своих больших чемодана. Это был дурной знак. Настолько дурной, что даже в грубости швейцара, загораживавшего мне вход в ее отель, мне чудилось не простое вымогательство, но заговор государства против нас с ней.

Несколько успокоило то, что документы у нас приняли, были даже любезны, дали не то поздравительный талон, не то квитанцию на получение что ли постельного белья, — свадьба была назначена на конец ноября. И сейчас, демонстрируя Анне фон-тан *Дружба народов*, я утверждал, что это — не аллегория интернациональной любви пятнадцати социалистических республик, но — наш свадебный хоровод.

Мы пошли, держась за руки, по этим просторам, демонстрирующим перманентный триумф вечно голодного народа. Я указал ей на парящего в вышине громадного быка — он темнел своим мощным корпусом, нависая над выставкой, в контражуре, на фоне разгоревшегося солнца, — быка Аписа, бога плодородо-

дия, в которого, быть может, превратилась душа нашей фараонской страны. Мы шли мимо восточных беседок и мавританских дворцов, мимо стального эллинга для дирижаблей, дорические колонны сменялись ионическими и коринфскими, — в той же последовательности, что в Колизее, — распустившиеся пальмы были огорожены легкими аркадами, на клумбах застыли самолеты, дикий виноград оплетал бесконечный горельеф, на котором счастливые фигуры пейзажа были пересыпаны изображением овощей: корнеплодов, огурцов и помидоров; пройдя сквозь помпейский перистиль, мы оказались в яблонево-саду, разросшемся так буйно, что почти укрыл бронзовым памятником — скромную фигуру в человеческий рост в шляпе и с палкой; по лужайке клевера с расставленными по ней ульями мы приблизились к еще двум изваяниям — жеребцу Квадрату и жеребцу Символу, как было сказано на табличках, и вдруг обнаружили поодаль скульптурную группу: колхозница указывала пограничнику куда-то вдалеку, потревоженная, видимо, признаками далекой опасности, а тот присел к своему пограничному псу на одно колено; пес тоже протягивал в даль свою чуткую умную морду. — Зачем все это? — прошептала испуганная и очарованная Анна. Что ж, ей, человеку Запада, вся эта лужа киселя могла казаться лишь сном пьяного кондитера, но мне-то было ясно, что этот пряничный славянский рай — мое Лукоморье, а верный пограничник с верным псом стережет его рубежи. Зачем? Я повлек ее через огромную пустую площадь — она едва поспевала, — и мы достигли сердца этой очарованной страны. — Вот, — сказал я.

В громадном бассейне, отделанном цветным полированным мрамором, плавали бронзовые рыбы и бронзовые птицы; все они тянули головы в одну сторону, непрерывно выплевывая из бронзовых ртов искрящиеся струи воды. — Смотри туда, — показал я Анне в самый центр. Там, переливаясь и сверкая, застыл в нечеловеческом вечном напряжении раскрытый каменный цветок. — Что? — прошептала Анна. Она не понимала, что из

этого места, любовно украшенного цветными сплавами редких металлов и тысячами разноцветных камней — из этого именно священного места и рождается окружавшее нас чудовищное невыносимое изобилие. — Это вагина, — сказал я. — Иони. Вульва, Пизда.

Увы, она ничего не понимала. — Пизда? — переспросила она. — Кто есть пизда?

Мне пришлось опять схватить ее за руку и повлечь за собой. Ветви раздвинулись. Посреди большого пруда, широко разбрасывая вокруг себя воду — семя земли, — высылся светящийся золотом, набухший каждой своей чешуйкой, с расширенными от напряжения порами, из которых сочилась блистающая на солнце влага, непобедимо торчащий колос, а вокруг него, у его подножья, безмятежно катались на цветных лодочках парни и девушки, девушки и парни. — Хуй, — сказала пораженная Анна, — это есть хуй!

Она новыми глазами смотрела на все что ни есть вокруг. Там, во внешнем мире, шла классовая борьба, холодная война, там на улицах пахло пылью и пережженным бензином, здесь же освящал своим светом и семенем эту дивную страну неутомимо извергающий фалос, и вокруг воцарилось как будто вечное лето, каменный цветок жадно вбирал эту влагу, вели нескончаемый брачный хором пятнадцать девушек в национальных нарядах, парил бык в вышине, и счастливая пара истуканов являла всему миру свое возвращенное на колхозных полях чадо, и бессонный пограничник бессонно охранял рубежи нашего счастья.

Тут же давали и пиво. Я взял нам по кружке. Женщины в легких платьях с загорелыми шеями и спинами прикрывали ладонями глаза от солнца, и в меру шалили дети. Трудно было говорить в виду такого благолепия, но если мы и говорили о чем-нибудь тогда, итальянская графиня и американский профессор-русист по совместительству, и я, русский литератор,

то, конечно же, о России, и Анна признавала, полагаю, что понять эту страну можно никак не умом, но любовью и только одной любовью.

Проголодавшись, мы отправились обедать в ресторан под названием, разумеется, *Золотой колос*. В тот год вышел запрет на продажу алкоголя в местах отдыха трудящихся, так что мне пришлось взять бутылку водки и бутылку шампанского у швейцара, который с готовностью продал их — из-под полы. В ресторане мы были одни. Официант с удовольствием перелил водку в графин, сам открыл шампанское и наполнил наши бокалы. Мы чокнулись, не боясь взглянуть, что, конечно же, было самонадеянно. Мы молча пили за то, что все будет хорошо, мы поженимся, а там уж — как Бог даст: отчего-то к нам вернулась уверенность, что мы живем в свободном мире и вольны делать все, что нам заблагорассудится.

Нам дали икры, и балыка, и холодного напитка клюквенного оттенка, пахнущего затхло, но с плавающими в нем несколькими кубиками льда. Ближе к вечеру появился оркестр и заиграл без предупреждения модную в то время в России итальянскую песню *Феличита*. А поскольку мы уже крепко выпили, то нам стало неумно весело и мы принялись целоваться здесь же, шептаться о любви и, кажется, читать русские стихи. Мы решили победить во что бы то ни стало.

Из ресторана вышли далеко после заката. Растительность благоухала, на чистом небе светила чистая луна. Я прикинул, что чем идти через всю выставку к центральному входу — мы могли бы перелезть через ограду ботанического сада, а там выйти на дорогу с другой стороны, благо оттуда до моей кровати в Бибирево было значительно ближе.

Ограда была в сотне метров, в тылу ресторанного здания. Она неприступно тяжелела в темноте, и будь мы потрезвее — задача показалась бы неразрешимой. Но мы были пьяны, счастливы и влюблены, шальная сила подняла нас, оторвав от земли,

за несколько минут, карабкаясь по мокрым от вечерней росы прутьям, мы перемахнули преграду. Мы вырвались из одного рая, но тут же обнаружили, что оказались в другом.

Вокруг нас тут и там торчали то бразильские пальмы, перевитые африканскими лианами, то мексиканские кактусы, то азиатские саксаулы. Возле каждого растения белела в темноте табличка, и если наклониться, то можно было разобрать надписи по-латыни. Диковинный лес, казалось, обступил нас, но вдруг впереди засветилась под луной дивная поляночка с уютной копной вполне русского сена посреди. Не долго думая, мы упали на эту копну, набросившись друг на друга, будто только сейчас встретились. Мы расстегивали друг на друге одежду, мы облизали губы друг друга, мы прижимались один к другому грудью и так истоиво, будто лишь в этот вечер вернулись — я к ней, она ко мне. Мы готовились слиться в том порыве редкого счастья, когда не думают о способах, а только рвутся принять и проникнуть до полного растворения, как оба ощутили точно какое-то движение земли, сгущение воздуха и тревогу, как при надвигающейся грозе.

Я приподнялся и отчетливо услышал приближающийся многоголосый лай. Звук накатывал очень быстро, и все лучше были различимы отдельные голоса собак, их голодное урчание, рык, подвывание, азартный утробный стон гона, казалось — даже кипение слюны, хлопьями падающей с их морд. Что за добычу они загоняли?

Чудилось, что стая летит прямо на нас, было страшно, мы невольно прижались друг к другу. Прошло несколько длинных мгновений, пока за решеткой сада мы ни увидели силуэты больших овчарок — точно таких, как на скульптуре с пограничником, — с топотом, скрежетом и рыком мчавшихся мимо.

Как-то сразу все стихло, опять стали слышны лишь насекомые, которыми был полон сад. — А если бы мы были там? — спросила Анна. Я тоже раздумывал об этом. — Нас никто не пре-

дупредил, — вскрикнула она с характерным, американским подъемом голоса в конце фразы. — Как это по-русски?.. они могли есть нас!

Это было верно. Они могли нас есть. Если бы мы не перелезли через ограду — овчарки растерзали бы нас. Что ж, таковы законы этого рая, мне ли было не знать, но на этот раз нам удалось уйти от погони.

— Факинг шит, — выругалась Анна, и ее светлые глаза были совсем черными. В темноте ее обнаженная фигурка и впрямь напоминала белого ферзя. Она потрянула кудрявой головой: — Факинг шит! — Для убедительности она ткнула в сено кулачком. Маленькая раздетая женщина — она пыталась идти чуждому ей миру наперерез. И тут я увидел в первый раз — в первый раз и в последний, — как на ее глазах и ее щеках показались слезы.

НАВИГАЦИЯ В ФИОРДЕ

Это была со всех сторон образцовая супружеская пара. Он — офицер флота одной из стран Атлантического блока, крепко сложенный викинг лет пятидесяти, с мужественного лица которого не сходили загар, румянец и доброжелательная улыбка; она — эффектная дама по ту сторону сорока, в меру экстравагантная, с крепкими большими белыми зубами, всегда оживленная. И его улыбка, и ее живость, впрочем, были им положены по протоколу, поскольку муж состоял военным атташе при посольстве своей страны, а жена состояла при муже хозяйкой на широкую ногу поставленного дома в *Сад-Сэм*, как называли западные *дипы* и *коры* большое здание на Садово-Самотечной, где жили иностранцы только высокого разбора. Свои дипломатические обязанности они вполне освоили, он неплохо выучился по-русски, они что ни вечер тусовались то у американского посла, то на приемах в Кремле; она тоже училась русскому и игре на флейте; по утрам они парой бегали на Цветном бульваре, поддерживая форму, но оба предпочитали общество чуть побогемнее, чем замороженный инструкциями, замкнутый на себя и мрачноватый московский дипломатический корпус, каким он только и мог быть в самом центре *империи зла*, — это было как раз рейгановское время, — а потому мечтали обзавестись *русскими друзьями*, что ж, даже в сталинских пьесах военные моряки чуть что — принимались ухаживать за цыганками, а женились на театральных артистках. Я попался в их сети, когда они их

только-только раскинули — в салоне все той же Вики, на очередном вернисаже. Едва мы оказались с ними перед одной и той же картиной, жена, включив на большие обороты отлаженный механизм общения, пристала ко мне — не художник ли я? Честно говоря, в тот момент мне было совершенно на нее наплевать. А эта механическая любезность светских западных дам, с которыми ровным счетом не о чем говорить и которые смотрят на тебя как на забавную фольклорную зверушку, вообще вызывала во мне злону, и я огрызнулся: мол, нет, я писатель, причем не печатающийся. И повернулся, чтобы ее покинуть.

— Как твое имя? — спросила она меня вслед. Я назвал.

— А я — Ульрика, — сказала она, протянула руку, обнажив свои большие зубы, и попыталась произнести мою чересчур сложную для нее фамилию по слогам. Меня позабавило ее прилежание; она же потом говорила, что была удивлена моим нежеланием с нею знакомиться, — все русские в салоне и вне его только и мечтали сблизиться с богатыми иностранцами; к тому ж, вспоминала она позже, я ей дал ясно понять, что она — *западная дура*, это ее выражение, и ни черта не понимает. Помимо всего прочего, полагаю, она не привыкла, как и любая яркая дама — она была хороша, — чтобы мужчины оставались равнодушны к ее красоте, но, увы, она была не в моем вкусе, чересчур явно в ее фигуре угадывалась спортивная мускулистость, тогда как в матронах этого возраста, на мой взгляд, хороша как раз известная расплывчатость и волнующая прелесть чуть перезревшего порока; к тому ж, на ее открытом лице была написана честность и провинциальная склонность к порывам, а в глазах мерцало что-то девическое; она была как бы вся напоказ, и эта поджарая определенность и подрагивающая чуткость — но без истерики, — я знаю, бывают свойственны породистым, хорошим и глубоким женщинам, но если бы я и был в то время склонен к флирту, то нуждался бы, пожалуй, в чем-нибудь попроще и покрепче, и менее газированном... Я был очень удивлен, когда че-

рез пару недель получил от нее приглашение на ужин.

Пригласила она меня сама. Не письменно, но позвонив по телефону, — номер, как потом выяснилось, она взяла у Вики. Звонила она — я это сразу же понял — из автомата, и тогда я не знал — случайность ли это или трезвая предосторожность. Она явно читала текст по бумажке, не надеясь на свой устный русский: потом я узнал, что у нее всегда было все заранее продумано и подготовлено. Из ее декламации можно было понять, что я должен ждать тогда-то и во столько-то у Колонного зала. — О'кей, — сказал я, и мы повесили трубки. Если это был флирт, то для меня весьма диковинный — ни одна из известных мне отечественных леди не назначила бы первое свидание своему объекту за ужином в кругу собственной семьи. Впрочем, решил я, наверняка это будет не ужин, но многолюдный фуршет.

Помню, выйдя из здания КГБ на Дзержинского, я шел пешком до Пушкинской, поскольку у меня в запасе было минут сорок, — моя судьба оказалась не настолько игривой, чтобы с точностью подгадать не только день, но и час. Ждать пришлось недолго: из притормозившего БМВ, невероятно шикарного по тем московским временам, махнул рукой знакомый корреспондент по имени Вильгельм, просто Виля, как все его называли, и я солнечным зайчиком шмыгнул на заднее сидение, — на переднем сидела его жена, которую я видел впервые, на первый взгляд вполне бесцветная. Вскоре мы, не тормозя у будки охраны, закатали во двор Сад-Сэма, и какое-то давнее воспоминание, карибского аромата, чуть плеснуло в моей душе.

Супруги встретили нас у дверей, одетые, как на пикник; вообще, в воздухе квартиры, как сказал бы Гоголь, *было расположение мы запросто*, и в этом сказывалось много деликатности — хозяйева могли предвидеть, что их советские гости не смогут быть одеты *блэк тай*, так что сразу же отбросили всякую официальность. Пока хозяйка демонстрировала нам фотографии своих троих детей — и это при ее-то фигуре, — показывала квартиру и

угощала аперитивом, хозяин быстро смотался на улицу и извлек оттуда еще одну русскую, художницу-примитивистку, выловленную ими тоже у Вики, фигурой похожую на полено, лицом на совковую лопату, в каком-то народном наряде, я сказал бы — чухонском, хоть и слаб в этнографии. Осмотр апартаментов был бегло повторен, но план экскурсии на этот раз расширился за счет посещения спальни хозяев, где гостям была предъявлена необъятного размера кровать со сказочным матрасом, полным воды, и мне не пришло в голову тогда же спросить — морской ли? Быть может, где-то был и мотор, с помощью которого муж мог имитировать родную стихию и задавать нужное число штормовых баллов; но скорее, матрас был механическим, и штиль в нем приходилось преодолевать усилиями самих гребцов. Так или иначе, этот матрас использовался хозяевами при его демонстрации посетителям для добродушного самоподтрунивания, что создавало атмосферу радушия вне протокола, направляло курс предстоящего вечера в сторону симпатичной фамильярности.

Ужин был накрыт на кухне — по-домашнему. За столом нас оказалось — четыре пары, присоединились еще и чета норвежцев, живших в этом же доме, он был рослым моряком, она — рослой, кажется, скульпторшей, и их я тоже однажды видел у Вики. Возле каждого прибора лежала записочка с именем гостя, согласно своей карточке я оказался по правую руку хозяйки, сидевшей во главе стола; хозяин расположился напротив жены, и справа от него была устроена чухонка, так что мы с ней образовали своего рода советскую диагональ. Норвежец — его звали Хуго — и Виля, обменявшись женами, сидели по разным берегам. Меню восхитило бесхитростностью: помимо закусок, черной икры и норвежской селедки под *Абсолют*, было лишь одно горячее блюдо — жареная рыба с шпоре и зеленой стручковой фасолью, причем с красным вином; ни сыра, ни шампанского не давали, а кофе и фрукты — после перехода в гостиную и к

лонг-дринку. Моя наивность простиралась тогда так далеко, что я решил, будто и это, домашнее, меню сочинено специально для нас, советских, из соображений не оскорблять их привычной роскошью нашу русскую гордую нищету — мне в голову не могло прийти, что для богатых западных людей этот ужин — вполне параден.

За столом ровным счетом ничего не произошло, не считая мимолетного эпизода под ним — в самом финале, когда рыба была почти съедена. Виля оказался образцовым холериком, говорил без устали, ругал на чем свет КГБ, который то и дело прокальывал колеса его машины, а заодно ругал и советскую власть, позже он добился своего, был выслан на самом пороге перестройки, что весьма помогло его карьере. Он говорил по-русски совершенно свободно, остальным приходилось трусить по мере возможности за ним: викинг великодушно ухаживал за примитивисткой, она что-то благодарно кудахтала, и вставлял в монолог Вили направляющие реплики; Ульрика не без лукавства кокетничала со мной, изредка в штормовом море русского языка цепляясь за обломки английского. Я же был чинен до поры, вспоминая приемы этикета, которым некогда успела обучить меня покойная бабушка, но, полагая это необходимым в ответ на красноречивые взгляды хозяйки, в какой-то момент протянул левую руку и сжал под столом ее колено. К моему удивлению, она дернула ногой, будто я ее укусил, будто вовсе ничего такого не ожидала; но улыбка ее не дрогнула; она лишь слегка дотронулась кончиками пальцев до моего предплечья и незаметно покачала головой...

Собственно, этим касанием все и должно было бы закончиться. Супруги уехали на летние каникулы на юг Франции, — этот вояж обсуждался за тем же ужином, я — купил полуразрушенную избу в верховьях Волги за бесценок и просидел в ней затворником до самой половины сентября, ловил рыбу в озере, ходил по грибы, пил самогон с мужиками и пытался сочинять,

но дальше нескольких страниц не двинулся. Это должна была быть не новая книга, но реконструкция той, утраченной, почти готовой, и я долго не мог смириться с тем, что восстановить потерянный текст — невозможно, что это — прожитая глава, и последняя ее страница перевернута. Я вспоминал украденный на вокзале хэмингуэевский чемодан, сгоревшие *Мертвые души*, потерянную спьяну авоську с новой рукописью автора *Москва-Петушки*, а там и пущенные в распыл сами писательские жизни, тонны архивов, сгоревших и погибших на Лубянке, рухнувшее величие Рима, наконец, — ничто не приносило утешения: недописанный роман и половина пьески, оказалось, были мне дороже, чем вся Александрийская библиотека.

Шел самый пустой период моей жизни: меня ждала пустая Москва и пустая квартира; был пуст мой письменный стол и пусты карманы; и пусты были разговоры по оставшимся телефонным номерам. Дверца клетки захлопнулась, казалось, навсегда. Могло ли мне прийти в голову, что звонок Ульрики в начале октября — не только начало новой связи, но, быть может, весть об избавлении...

Она волновалась. Она не могла найти никаких русских слов. Она, как и в первый раз, читала по заготовленной бумажке. Я вслушивался в ее невозможный русский, от волнения сделавшийся и вовсе неразборчивым. Кажется, она хотела сказать, что ей нужно меня увидеть. Это слово она повторила несколько раз — по слогам. Я сказал, что к ее услугам. По буквам она продиктовала мне время и место. Признаюсь, я был нимало удивлен: трудно было измыслить хоть какую-нибудь более или менее правдоподобную причину, по какой ей было нужно меня повидать. Теряясь в догадках, я мог предположить только, что она разделяет некоторые обязанности мужа. Муж, конечно, был шпион, но какой прок мог бы я принести НАТО. Я не знал ни единого стратегического секрета, разве что мог поделиться своими наблюдениями о настроениях в среде творческой ин-

телигенции. Мой доклад был бы лапидарен, настроение хуевое. Мельком подумал я и о том, что КГБ не понравятся мои конспиративные встречи с женой западного разведчика, однако — как взлетели бы мои писательские акции, придумай мне контора шпионскую биографию.

Свидание было назначено на скамейке в саду *Аквариум*; вокруг порхали листья, пахло прелью; Ульрика, извинившись за свой язык, попросила дать ей время высказаться и ее не перебивать. Держа на коленях русский разговорник и словарь, она понесла такую ахинею, какой я не слышал никогда ни до, ни после ни от одной женщины в здравом уме. Но она не походила на безумицу, хоть ее речь и была вполне фантастична. Суть дела сводилась вот к чему: они с Отто любят друг друга уже четверть века, результатом чего стали трое детей, два мальчика и девочка, не поленилась уточнить она, впрочем, это было мне уже известно; ни он ни она никогда один другому не изменяли, что так же точно, как то, что мы сидим в Москве поздним бабьим летом; они глубоко привязаны друг к другу и один другого *уважают*, и это место было дважды сверено по словарю; но сейчас дети выросли, младшая уже почти взрослая, а Москва для нее, Ульрики, как начало новой жизни; и в этом втором рождении она как бы все начинает заново, и уже решено, что *ты* — то есть я — будешь *моим вторым мужчиной*. Я даже не успел покоробиться столь откровенной протестантской рациональностью, не смог воспротивиться всеми своими русскими чувствами, так захватывающ был ее дальнейший рассказ. Оказалось, это решение — не принципиальное, тут, кажется, все давно было решено, — но касательно именно меня — далось ей очень нелегко: с одной стороны во время того ужина я прошел испытание, с другой — у *них* не принято класть хозяйке под столом руку на колено; к тому же, кажется, я слишком много пью для интеллектуала, каким, по ее мнению, являюсь; но с третьей стороны, я очень симпатичен Отто, а значит она сможет часто пригла-

шать меня на *парти...* Она все листала словарь, лазала в разговорник, меня она не злила, но забавляла. Она так неподдельно волновалась, что было невозможно заподозрить во всем этом розыгрыш. Она с полнейшим простодушием пыталась донести в деталях свое трудное решение, и при этом ей в голову не приходило, что я могу отказаться от предложенной мне почетной и ответственной роли в столь образцово-добропорядочной дамской жизни: по-видимому, пожиманием коленки я уже сказал, с ее точки зрения, свое последнее слово. Естественно, мне пришла в голову циничная мысль, что все делается с ведома и одобрения мужа, а весь этот бред нужен лишь для того, чтобы держать меня в узде и не позволить компрометировать семейство неосторожными движениями. Но и в этом не было никакого резона, легенда о безгрешности брака казалась вполне лишней в этом случае, да и красные пятна, которыми она то и дело покрывалась перед тем как побледнеть, никак не напоминали обычное кокетство... Впрочем, в будущем мне неоднократно приходилось стыдиться собственной подозрительности, столь сосредоточенно и жертвенно относилась она к своей *второй любви*.

Конечно, я был легкомыслен: ее серьезность поначалу представлялась мне разве что пикантной, сама ситуация — увлекательно рискованной. Быть в те годы любовником жены западного военного атташе было и опасно, и экстравагантно, для западных спецслужб должно было быть понятным, что я внедрен в постель их сотрудника не иначе как КГБ; само же КГБ должно было быть поставленным в тупик — попытаться завербовать меня, обшмонанного, выброшенного из литературной жизни и, в довершение, их стараниями оставшегося холостым, *социально обиженного*, говоря их языком, было бы довольно глупо; они ведь должны были бы мне открыть хоть отчасти технологию шпионского дела — не отлова дураков-литераторов, что, как говаривал мой друг Попов, все равно, что мучить котлов, — насто-

ящего шпионского дела, причем с полными гарантиями, что я рано или поздно распишу всю историю где-нибудь в *Нью-Йорк Таймс*; но и пресекать эту связь им было, надо полагать, не с руки, скорее, они должны были бы ее лелеять, постепенно собирая и на нее, а заодно и на меня компромат; а заодно на ее мужа и блок НАТО в целом... Так или иначе, мы скрепили тут же на лавочке под лысеющими кронами наш договор долгим поцелуем в губы, что заменило наши подписи под любовным планом Ульрики и моим на него согласием.

Но — все развивалось не так быстро, не так быстро. Нашлось множество обстоятельств — знакомых мне лишь из французских романов про полуторавековой давности адюльтеры, — препятствующих немедленной ратификации. Ульрика вела напряженный дипломатический образ жизни, и, хоть я бывал приглашаем теперь на приемы в их дом, нам удавалось лишь пожать украдкой друг другу руки где-нибудь в прихожей. По уикэндам муж, как водится, не служил, и уикэнды тоже выпадали. В будние дни с десяти до четырех в их квартире находилась горничная от *Управления обслуживания дипкорпуса*, лицемерная пролетарка, ухитрявшаяся изображать смиренность в духе жены Версилова. О том, чтобы отъехать ко мне в Бибирево, даже и разговора не было: из дома Ульрика отлучалась лишь за покупками, и ее всегда возил на автомобиле другой кагебешник из УПДК — шофер-весельчак Коля, мужик лет сорока и поклонник, почему-то, полузапрещенной тогда группы *Машина времени*. Лишь изредка она могла отпроситься у своего сопровождения, сославшись на то, что хочет прогуляться, причем выполняла всегда один и тот же маршрут — до Центрального рынка и назад, и на рынке — видимо в качестве камуфляжа — закупалось огромное количество цветов и экзотических кавказских фруктов, каких на *бонь* в специальном *шопе* для дипломатов на Краснопресненской, кажется, не продавали. Целый месяц Центральный рынок и прилегающая к нему территория и были мес-

том наших свиданий тет-а-тет, и — ясное дело — эта рыночная платоника скоро стала мне поперек горла. Представьте: толпа ханыг на заплыванных ступенях, уголовные рожи торговцев краденой черной икрой, тюбетейки, ушанки и кепки, очень много золотых зубов и загара не по сезону, и — с распущенными каштановыми волосами, на голову выше самого рослого чучека, то ли в ярчайшей развевающейся юбке, то ли в ярких брючках по щиколотку, непременно в кроссовках, каких никогда не видела и прикинутая московская молодежь, с рюкзаком ярко-желтой кожи за плечами, набитым хурмой, айвой, алычей, гранатами, с грандиозным букетом черно-бордовых роз, со сверкающей улыбкой во всю свою великолепную пасть идет она ко мне навстречу по затоптанному подталому грязному снегу, полным окурков и семечной чешуи, и толпа раздается в стороны, а мне — мне делается зябко в своей курточке под алчными взглядами соотечественников...

Все разрешилось гротескным образом — первым подходящим для воссоединения днем оказалось Седьмое ноября. Отто приветствовал на трибуне парад на Красной площади, горничная и мой тезка-шофер получили увольнительные. После увертюры на диване в гостиной — с рюмкой коньяка, *Реми Мартен*, когда по телевизору было видно, что сухопутные войска сменились первыми танковыми колоннами, мы добрались-таки до постели. Стихия в матрасе, кажется, уже чуть волновалась. Как только я лег, то ощутил приятную качку. Мы оба кончили, когда танки еще шли. Ульрика оказалась приучена к незатейливому походному сексу, если б не вода за бортом — я сказал бы: от инфантерии. После финиша ей нужно было передохнуть, как мужчине. Это было по-своему удобно, во всяком случае перед продолжением я успел пропустить еще пару рюмок и выкурить сигарету *Кэмел*, что для меня, как для любого советского аборигена в те годы, было большой удачей. К началу следующего тура по Красной площади шли уже ракетные войска. Меня отвлека-

ли звуки бравурного марша и торжественно-карамельный голос диктора, но она, казалось, ничего не слышала и кончила на этот раз весьма бурно, со скрежетом зубов и утробным рычанием, и лицо ее скорчилось в некрасивой гримасе, будто она готовилась разрыдаться; мне же удалось сэкономить заряд, иначе и не знаю — получилось бы у меня в третий раз. Когда на экране показалась самая здоровая ракета с закругленной, как у пениса, головой, мы кончили вместе, и над площадью прокатилось переваливающееся, как волна над нами, *ура*. Она открыла глаза и посмотрела на меня мутным взором, как спросонья. Потом прошептала что-то на своем языке, я пожаловался, что не понимаю, хоть все отлично понял: она удивлялась самой себе, что так у нее, оказывается, может получаться и еще с кем-то, кроме Отто. Я попытался сосстричь что-то в том духе, что такой уж сегодня день — демонстрации советской мощи, *совет пауэр*, но она эту шутку, мне показалось, пропустила мимо ушей. Начался парад физкультурников, и мне самое время было сваливать. Она вывела меня на улицу, бесстрашно подарив кагебешнику в будке улыбку и цветок. Охранник поклонился ей — совсем по-японски; меня восхитило ее самообладание, сам-то я не чаял, когда исчезну из его поля зрения. Она все не выпускала мою руку и заглядывала в глаза, но я торопился уйти — только теперь я почувствовал, как был напряжен в ее дипломатической квартире под дулами неминуемых микрофонов, под колпаком родного ГБ...

Чего я ожидал меньше всего, так это вызова на Цветной бульвар уже на следующее утро. Оказалось, Отто отправился на обед с сослуживцами-мужчинами, и день у Ульрики был свободен. Мы встретились на Трубной, мы устроились в довольно уютной пиццерии в подвальчике, мне было предложено кьянти — да-да, тогда в пиццериях можно было выпить кьянти, — и я выдул подряд два бокала, так как успел вечером вчерашнего дня попить с приятелями. — Зачем ты так вчера сказать — со-

вьет-скья сыла? — прочла она по приготовленной бумажке, и фанатичный огонек замерцал в глубине ее широко раскрытых глаз. Я поперхнулся итальянским вином и уставился на нее. А потом, не в силах сдержаться, расхохотался. Она сказала с болью и тихо: *те-бе было смешно?* И ее глаза стали, к моему ужасу, заполняться слезами по самые края, — точно так медленно и неотвратимо наполнилось, я вспомнил, влагою ее лоно, в котором я еще не знал ни одного рифа. — Я люблю тье-бя, — сказала она печально, опустила веки и стряхнула слезинку из угла глаза. — Ты не понимать...

Она была права — я не совсем *понимать*. Конечно, полюбила она прежде всего этот изгиб собственной биографии, которую она выстраивала по точнейшим чертежам. Заодно, быть может, была влюблена в меня, допускаю. Но у меня в голове не укладывалось, как может сочетаться в женщине такая холодная дьявольская предусмотрительность во всем, что касается обмана собственного мужа, и такая полнейшая невинность во всем, что касается любовника... Приемы становились все чаще. На этих вечеринках все прибывало русских друзей — по-видимому, Ульрика заботилась, чтобы мне было легче в этой советской каше затеряться. Я тогда ничего не понимал в виски, запивал бурбон скотчем, нахлобывавшись — ухаживал за дамами, что заставляло Ульрику тихо страдать и посылать мне исподлобья скорбные взгляды, в глубине которых маячил знакомый мне огонек.

Она принялась прибегать ко многим и разнообразным ухищрениям, чтобы сплавить днем горничную, отослать шофера, а самой — в очередной раз пуститься в плаванье в своем матрасе со мною в качестве экипажа. По вечерам я все чаще толкался среди парадно одетых гостей у них в доме — меня приглашали теперь на все вечеринки, которые организовывались то и дело. Случалось, окно между ее постелью и началом очередного приема было столь незначительным, что, соскочив с матраса, я выкатывался на мороз и околачивался поблизости от *Сад-*

Сэма, предвкушая выпивку и ожидая, когда Отто, наконец, выйдет встречать гостей к патрульной будке и протянет мне руку с полнейшей благожелательностью.

Регулярны стали и свидания в пиццерии. Мы там сделались завсегдатаями. Случалось, вызывы бывали срочные, тогда Ульрика платила за мое такси. Как правило срочность обуславливалась приемом накануне. То я скоренько сдружился с рыжей англичанкой, женой летчика с *Бритиш Эрлайнс* — она все чокалась со мной, потом мы пили на брудершафт, потом фотографировались в обнимку, пока муж не схватил ее за руку и не потащил домой; то, осоловев, я хлопнул по заду какую-то блестящую даму, а когда она повернулась — показал пальцем на хозяйского пуделя, — дама оказалась женой первого секретаря какого-то посольства; наконец, как-то я явился на особенно торжественный и пышный прием с девицей из советских евреек-эмигранток, приехавшей в Москву проведать маму и направленную ко мне Осей в приложение к письму из Нью-Йорка; одета она была совершенно сногшибательно: в красный костюм с мини-юбкой, в чулки-паутинки и в красную же широкополую шляпу, короче, со всем брайтон-бичевским шиком, и мужчины-дипломаты за ее спиной задорно перемигивались... Сидя за одним и тем же столиком в углу, Ульрика поджидала меня, уж приготовив словарь, разговорник, блокнот и набор фломастеров. Кьянти тоже меня ждало. При моем появлении официант, как по неслышной команде, тащил горячую пиццу с шампиньонами. Дождавшись, пока я подкреплюсь, Ульрика с самым серьезным и сосредоточенным видом открывала блокнот. Страницы в нем были уже загодя разрисованы крупными печатными русскими литерами. Рисунки эти изображали вопросы риторического характера, но снабженные вопросительными знаками. Причем каждый пункт был выписан своим цветом. Скажем, красным было начертано: *ты много пьешь?* Не дожидаясь моей реакции, Ульрика вписывала сама черным: да, — полагаю, при

ее рачительности во всем, она таким образом параллельно осваивала русскую грамоту. Далее зеленым: *твой хуй не стоять?* Тут уж я удивлялся: разве? Она не обращала на мои протесты внимания и вписывала черным аккуратно: будет. В другой раз вопросы могли звучать чуть иначе, скажем, синим: *ты совсем без контроль?* — Ну, почему же, — вальяжно говорил я, потягивая кьянти, чтобы поддержать игру. И тут Ульрика отбрасывала фломастер и, жестикулируя, доказывала мне уже устно, что если бы я был с *контроль*, то с какой бы стати флиртовал с посторонней замужней англичанкой — к тому же рыжей и из гражданской авиации. Помнится, однажды она, прискучив чистописанием, подготовила для меня целую картину — что-то раскрашенное, в манере Кукрыниксов. Подпись красным фломастером гласила: *Николай любит девочки красный свет...* Господи, мне бы столько усидчивости и прилежания!

Я вошел в роль и чувствовал себя законченной блядью. Не знаю, согласятся ли со мною профессионалки, но как дилетант заявляю — отчасти это приятное чувство. Вряд ли я любил ее. Нет, не десять разделявших нас лет мне мешало. Просто я не мог расслабиться: из-за положения ее мужа, из-за собственного положения. Ведь играть ва-банк — вовсе не то же самое, что махнуть на все рукой. Но она мне нравилась, очень нравилась. Она была чудачкой, она плохо понимала, что творится вокруг. Она была *западная дура*, причем протестантской выделки. Она была уверена, что упорство и труд — все перетрут, не знаю, какая пословица на ее языке соответствует этой. Но не в России, нет, не в России...

Отто повадился отъезжать в командировки. Впрочем, иногда на два-три дня улетала на родину и она сама, полагаю, в качестве дипкурьера с донесениями мужа — то ли об организации праздничных парадов, то ли о настроениях русских друзей. Во время его отлучек я, случалось, оставался в плаванье на матрасе и на ночь, бывало — проводил в ее доме и по двое суток, ко-

ли был выходной или удавалось в будний день отделаться от служанки, шофера и учителя флейты. Я расхаживал по сверкающему паркету в толстых вязаных гольфах и в халате, выкуривал по нескольку пачек *Кэмела*, в кладовке, где алкоголь всех видов занимал широченные полки от пола до потолка, я выбирал, что приглянется, наладился запивать *Блэк-энд-Вайт* английским жасминовым чаем, на десерт брал какого-нибудь шартреза, но это был не тот шартрез, что мы пили на вечеринках с девками в годы моей юности — по два рубля, но — в богатом каком-то флаконе, цвета нежнейшего, а не ядовитого, и такого же вкуса; проводя таким образом часы и часы, я впадал, разумеется, в дурман, и облако этого кайфа было и плотнее, и ароматнее, чем после анаши; мозг туманился, тело принималось вибрировать, и когда я ложился в очередной раз на плавучее наше ложе, ее широко разверстое лоно, тоже подрагивающее и влажное, представлялось мне морским гротом, куда я врываю, покачиваясь на прекрасной лодке; казалась, это и есть заколдованный вход в тот, иной вожденный мир, и, проникая туда глубже и глубже, я впрямь избавляюсь от наложенных на меня злых колдовских чар...

Разумеется, ей приходилось и встречать, и провожать меня, чтобы провести мимо охранника. Стражам этим она делала бесконечные подарки, но и без того этим служакам и в голову не пришло бы доносить о моих визитах не начальству, как положено, но ее мужу. Из собственных поездок она привозила подарки и мне, причем целыми чемоданами. Незаметно оказалось, что гардероб мой значительно обновлен, что все, — от трусов и носков до брючек, маечек, рубашечек — надетое на мне — подарено ею, и я как бы упакован в ее обертку, а значит по элементарным законам магии — принадлежу ей и сам. Более того, все чаще она прикатывала на такси в мою берлогу на краю Москвы, и там стали появляться какие-то невиданные мною до этого баночки и тюбики, содержавшие средства для

мытья и натирки, освежители воздуха, салфеточки, скатерки, цветные свечечки в деревянных подсвечниках, покрывало на кровать, а там и комплекты, тоже разноцветного, постельного белья, и мое убогое жилище уже не напоминало холостое убежище российского непечатающегося и пьющего литератора, но скорее гнездышко жиголо-педераста. Доставлялись, разумеется, и продукты, хорошая выпивка не переводилась, и случались подчас и вовсе семейные вечера, когда я отстукивал на машинке какие-нибудь рецензии для внутреннего пользования в одном толстом журнале, а она тут же, нацепив очки, что-то штопала и пришивала — при всей ее шикарности она была в сущности очень домашняя и, кажется, хорошая хозяйка. Как уж она устраивалась с Отто — я перестал интересоваться, здесь на нее можно было целиком положиться, но вела она себя смело настолько, что мы стали вместе бывать в ресторанах, пару раз даже — играли на бегах, причем ей везло, а мне — нисколько, потом — у моих друзей, кое-кто из которых стали и ее друзьями и тоже принялись мелькать на ее раутах. Постепенно сложилась натуральная жизнь втроем — с той поправкой лишь, что одна сторона пребывала в неведении или делала вид, что пребывала. Однажды, зайдя к ним на ланч, по приглашению Отто, разумеется, которому не с кем было выпить пива и посмотреть очередную серию про Джеймса Бонда — он любил все brutальное и глуповатое, — я обнаружил на хозяине точно такую же рубашку, как она мне подарила недавно. Потом я поинтересовался у нее, что бы было, если б и я пришел в такой же, — но она ни на секунду не смутилась: рубашка финского производства, я сам мог бы купить ее в магазине. Разумеется, она знала, что Отто в советском магазине отродясь не бывал.

КГБ из моей жизни как ветром сдуло. Она отправляла на Запад мои письма, она привозила мне тюки запрещенных книжек — двух-трех из них, найденных на обыске, могло бы хватить годика на три лесоповала, так что я, прочитывая их скоренько, рас-

пылял, бегая по улицам, как подпольщик, но никто не гнался за мною — казалось, наша связь дает какой-то иммунитет. Менялись сезоны. Подражая им, принялись меняться генеральные секретари. Мы привыкли друг к другу. Увы, дело шло к концу пребывания Отто на его посту, и, устроившись у меня на коленях, Ульрика все чаще повторяла, что *советский миф* изменится, и мы еще встретимся, встретимся. Но оба понимали, что надеяться на это — чистое прекрасодушие, и, говоря это, она лишь утешает себя и меня.

Однажды случилось дурацкое приключение. Отто был в очередной отлучке, днем Ульрика была занята, вечером — был занят я, и, похоже, в тот день нам было не увидеться. Я отправился в какую-то компанию западных корреспондентов, где на пари осушил бутылку *Джек-Даниэл* ноль-семь и привязался к какой-то девице — оказалось тоже англичанке, далась им наша Россия. Впрочем, она объяснила, что у них, в Англии, со дня на день будет революция, а она не любит революций, у нас же, в России, революция уже была, — западная наивность, — и она любит Россию. Короче, как и все русисты — она была русисткой — и эта оказалась чеколдыкнутой. Я вызвался ее провозжать. Разумеется, была она страшненькой, коренастой, в очках, все как полагается. Еще она объяснила, когда мы ловили такси, что любит Россию так, что ей пришлось наняться бэби-ситером в семью английских дипломатов. И потому проживает она в Сад-Сэм, знаю ли я, что такое *Сад-Сэм*? — О, йес, — успокоил я ее и заявил, что провожу до самого подъезда. — Но — я не мочь инвайт тебя ту май плейс, — заволновалась англичанка, мигом забыв русский. И я успокоил ее, что ее *плейс* меня совершенно не интересуется. Такси ввезло нас во двор, и я приветливо помахал охраннику с заднего сидения.

Было за полночь. Подъезд Ульрики вымер. Я был здорово пьян, но долго прислушивался, стоя у нее под дверью. Трогательный зеленый веночек висел под номером квартиры —

должно быть, такие же охраняли некогда дома ее предков от вторжения нечистой силы. Все было глухо, я нажал кнопку звонка. Она открыла очень быстро, как будто стояла под дверью и тоже прислушивалась. Какое-то мгновение она чужим взглядом смотрела мне в лицо. Потом молча отступила назад, я переступил порог, она быстро закрыла дверь и долго запирала ее — на замки, на цепочку. И опять повернулась ко мне, глядя сумрачно и странно. — Почему ты здесь? — спросила она. И я почувствовал себя нашкодившим мальчиком. Я ответил ей что-то в том смысле, что ЧК выписало мне к ней постоянный пропуск. Она как-то бессильно взглянула на меня, опустила руки и заплакала. Она плакала так, как плачут усталые взрослые женщины. И вдруг я догадался, мигом прозрев, что шутка моя была для нее столь жестока, потому что никогда, никогда за все время нашей любви она не могла быть во мне вполне уверена. Это буквально потрясло меня, я стал сбивчиво молотить что-то про англичанку, твердил: нет, Уля, нет, посмотри на меня, разве я... разве я, — и сам заревел в три ручья.

Получив чашку английского чая и полфлакона *Джек-Даниэлл*, я чуть успокоился. Она тихо сидела рядом со мной в гостиной, на том диване, где встречала меня впервые наедине, и продолжала тихо плакать. Она смотрела на меня, не отрываясь, сквозь слезы, без улыбки, как смотрят женщины, потеряв и вернув. Иногда она подносила ладонь к моему лицу. Кажется, глаза ее еще были мокры, когда мы поплыли в темноте на нашем матрасе. Лицо мое обдувал балтийский ветер. Я погружался в нее все глубже и глубже. Фиорд был узок в горловине, но постепенно расширялся. Было темно, и берегов было не видно. Под утро я вышел на палубу. Я не впервые плыл по морю, но то были совсем другие моря; пахнул иначе ветер, и новым было небо над головой.

Ближе к восьми утра показали первые огоньки. Я не мог поверить, что это происходит со мной. И не было способа убе-

Ближний круг

даться, что я сам, во плоти, а не одна лишь моя тень, плыву в навсегда запретном для меня мире, и *им* меня уж не достать. По лицу стекло, и капли были почти пресными. Качки не чувствовалось, хоть море не было спокойным. Светало, и все отчетливее проступали контуры чужих берегов. Родных чужих берегов, как мне тогда казалось.













Из книги
«Далее — везде»
(2002)





ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ И НЕБА

Тогда этот город отнюдь не лежал в руинах.

Тогда это был мандариново-мимозный земной рай, мечта озябшего жителя северной метрополии: чайки, колыхающиеся в струях воздуха, идущих от студенистой морской воды; женщины как одна в черных чулках и с опущенными долу глазами; кучки бездельников, прохаживающихся по набережной или галдящих на гортанном наречии, сгрудившись в одном месте; старики на скамейках вдоль променада.

Я был юн. Впрочем, тогда я сказал бы о себе, что — молод, но теперь понимаю, что был юн, очень юн. Поселился в гостинице окнами на море, мечтая опровергнуть расхожее мнение, что в этой кавказской провинции нравы чопорны и ни в какую не найти веселую и нестрогую девушку, скрасившую бы командированному дни постоя. И ждал аудиенции у одного полоумного профессора-математика, ради интервью с которым и был прислан редакцией.

Сначала математик отказывался меня принять, и не помню уж какие мои аргументы растопили лед. Потом жена профессора объявила по телефону, что у ее мужа неважно с сердцем, и придется отложить встречу на пару дней. Ночами я сражался в своем интуристовском номере с полчищами мышей, гирляндами висевших на пакете с недоеденным хачапури и оглушительно шуршавших целлофаном в темноте. Днем бродяжничал, шатался по набережной, пил кофе по-турецки, — тогда здесь было

много кофеен, где к обжигающему густому кофе подавали ледяную минеральную воду, — и совершал познавательные экскурсии — в ботанический сад или в обезьяний питомник. Заключены в питомнике были, кажется, шимпанзе, и сквозь изгородь привольного вольера можно было наблюдать, сколь мудро устроена обезьянья половая жизнь: косматому клыкастому самцу принадлежало большинство самок, боровшихся за право выбирать из шевелюры повелителя блох. Когда жители разрушили свой прелестный город с применением современного стрелкового оружия, обезьяны в смятении разбежались по окрестным горам, и, надо полагать, были неприятно поражены полным отсутствием там банановых зарослей.

Профессор некогда жил в столице, занимался небесной механикой и вошел как-то в моду, опубликовав статью в популярной газете о том, что, мол, если и есть кроме нас обитатели в космосе, то, чем тратить на сверхсовершенные радиотелескопы, следует здесь, на земле, искать их следы. Шаг был неосторожный; профессора немедленно принялись сживать со свету, — предмет не был освещен в партийных документах, но о статье много говорили, причем какой-то польский еженедельник объявил автора человеком года. Математик был характера кабинетного и нервного, из запуганного поколения, вдобавок еврей. Он — это выяснилось потом из наших с ним бесед, столь проникся профессор ко мне доверием — когда-то учился в хедере и свои умозаключения строил во многом на знании древних книг, утверждая, к примеру, что описание Иезекиилем херувимской колесницы — ни что иное, как свидетельство очевидца полетов над Халдейским царством инопланетных кораблей.

Здесь стоит напомнить, что, во-первых, в те профессорские годы все сведения о летающих неопознанных предметах считались стратегическими и были засекречены, во-вторых, по иным причинам, но был засекречен и Ветхий Завет, а заодно и сам Господь Бог. Так что, пусть и из самых благих познаватель-

но-материалистических намерений, математик нарушил сразу два табу, которые, если вдуматься, сводились к одному всеобщему запрету на заглядывание без допуска — в запредельное. Так или иначе, но профессор, с ужасом осознав свое падение, получил инфаркт, а, оправившись, бежал без оглядки и по рекомендации врачей осел в этом южном городе, где стал заведовать вычислительным центром в местном исследовательском институте. О пришельцах из космоса, про которых, по его убеждению, он так много знал, математик никогда и ни с кем больше не говорил, и не в этом ли причина, что, наконец, предчувствуя, что жить осталось недолго, разговорился со мной, человеком молодым и случайным.

Впрочем, это произошло не сразу, далеко не сразу, и прежде чем я переступил порог его дома, прошло немало дней безделья — в раздумьях о доступных девушках и иных обитаемых мирах. Как это и бывает обычно — разом густо, разом пусто — я познакомился и с ним, и с вполне подходящей девицей в один и тот же день, с малым промежутком. С утра профессорша сообщила мне, что ее муж согласен меня принять после обеда. В три часа я отправился на окраину, где располагался институтский городок, у меня было время осмотреть научные корпуса и прикинуть, что пленные немецкие ученые, ради которых некогда и была организована шарашка, в общем-то неплохо устроились, — и ровно в четыре позвонил в дверь.

Профессорша оказалась пожилой и благообразной русской женщиной типа сельской учительницы, какими их показывали в поздних соцреалистических фильмах, сам же профессор — очень сухим человечком лет шестидесяти, всклокоченным и дерганым ровно так, как полагается сумасшедшему провидцу. Встретил он меня сумрачно — в затененном кабинете, донельзя просто обставленном. Он делал вид, что спешит, но куда ему было торопиться — прозябающему в неизвестности на окраине империи, общающемуся, кроме жены, разве что с взвездным

разумом. Перво-наперво он решил огорошить меня заявлением, что на мои вопросы он, быть может, и сочтет возможным ответить, но публиковать интервью запрещает решительно. По-видимому, он все-таки был скорее мечтателем, чем логиком... Мы приступили; поначалу он был сдержан и сух, отвечал кратко; я не спешил выведывать у него тайное знание, но для начала прошелся по его биографии. Мы галопом проскочили годы обучения на математическом факультете, на рысях — работу в Абастуманской обсерватории, затем иноходью прошли по аспирантскому сроку в Московском университете, и тут я почувствовал, что собеседник, перейдя на шаг, несколько оживился, коли можно назвать оживлением сморкание, сбивчивость речи и почти приметный тик, что стал подергивать его левое веко. Мы приближались к теме.

Надо заметить, в те годы я был знатоком и популяризатором проблемы связи с внеземным интеллектом, — не ведал еще, что в далеком будущем переключусь на земную и грешную светскую жизнь, — и вовсе не потому, что был таким уж Джордано Бруно, энтузиастом идеи множественности обитаемых миров. Просто за эксплуатацию темы, к которой я относился с легкомысленным репортерским цинизмом, мне платили достаточно легкие деньги. Так вот, дойдя до переломного пункта биографии профессора, я стал осторожно выкручивать на нужную дорожку, заворковав о регулярных радиосигналах из Крабовидной туманности, пока он не перебил меня, сказав глухо:

— Это все они... взяли у меня.

Я обрадовался, нащупав почву, по которой можно было твердо двинуться дальше: профессор был смертельно обижен тем, что у него украли приоритет. Это был сулящий успех поворот дела: именно восстановлением справедливости мы с ним теперь и займемся. Я, ласться, льстя и блефуя, подкидывал ему вопросы об известных обрывах в земной эволюции, о такой же возможности по теории вероятности рождения живой клетки

из питательного прабульона, как если бы шимпанзе, нажимающий наобум кнопки пишущей машинки — персональных компьютеров тогда еще не было, — за миллион лет написал роман Льва Толстого, пусть даже *Воскресение*, — и всякую прочую дребедень из арсенала лекторов общества *Знание*, но профессор глядел благосклонно, глаз его замер, он любовался молодым пылом познания, и я догадался, что детей у него с учительницей скорее всего не было. Постепенно капельки речи, что он выцеживал из полузубого рта, превратились в непрерывную струйку, и он поведал, что, конечно, только предположение о существовании внеземных более развитых цивилизаций позволяет снять все пробелы теории возникновения разумной жизни на Земле: и если признать, что такие высокоцивилизованные миры существуют в далеком космосе, то крайне глупо пытаться нащупать их присутствие с помощью земной примитивной техники, ибо в своем развитии их технологии обогнали наши на много поколений. Тут я решил сумничать и чуть было все не погубил, радостно согласившись, что все неуспехи такого рода попыток не доказывают отсутствия в космосе иных цивилизаций, как смешно говорить, что Бога нет, на том лишь основании, что космонавты не встречали на своих путях ангелов... Он запнулся и замолчал. Я тут же спохватился, вспомнив про его хедер и последующую материалистическую перековку. Он пробормотал что-то в том духе, что, помимо идеалистических заблуждений, древние книги содержат много ценного. Ведь из них можно почерпнуть свидетельства людей, живших на Земле и тысячу, и много тысяч лет до нас. Я тут же припомнил ему его знаменитую давнюю статью. — В той статье не содержалось и доли.., — пробормотал он, дверь отворилась, протяжно заскрипев. Вошла профессорша и сказала, обращаясь к мужу, назвав его при этом трогательным детским именем, что беседа длится уже слишком долго. — Ему нельзя нервничать и переутомляться, — сказала она мне. Профессор было хотел протестовать, но в мяг-

кости жены таилась сила приказа, и он протянул мне руку. — Приходите завтра, в это же время...

Я сидел в приморском ресторанчике, где прилачился обедать, смотрел на воду и волны, на неуклюжих раскормленных чаек, на набережную, постепенно заполнявшуюся праздным южным людом, среди которого было много приезжих, потому что здешние санатории и пансионаты работали круглый год; прихлебывая *Псоу*, я прикидывал, что удастся мне выудить из профессора завтра. За соседним столиком две девчужки лет по девятнадцать гадали на кофе, переворачивая свои пустые чашки, потом принимаясь вертеть их так и эдак. Одна была явно абorigineнского разлива, черная, смуглая и носатая, другая внешности скорее южно-русской, тоже смуглая и темноволосая, но с носиком вздернутым, глазами не карими — ореховыми с прозеленью, и гораздо более бойкая, чем пугливая ее товарка. Нет, что ни говори, но если считать нашу цивилизацию недостаточно развитой, то следовало бы предположить, что высоко за границей этого уже золотившегося сейчас синего неба, есть еще более восхитительный уголок, где может одиноко сидеть молодой юноша за бокалом белого вина, пытаясь заглянуть в глаза милой соседки; она крутит в пальцах пустую кофейную чашечку, угадывая в таинственных письменах, оставленных на фарфоровых стенках черной кофейной гущей, знаки своей грядущей бесхитростной судьбы, и тоже изредка лукаво поглядывает на него.

Я пересел за их столик. Солнце, готовясь зайти за море, красило барашки на воде и закрученную прядь, вившуюся от ее уха с розовеющей в мочке дырочкой вдоль всей смуглой шеи до самой ключицы, обтянутой кожей в светлых пупырышках. Ее подругу звали неразборчиво, ее саму, кажется, — Галина, хоть можно подставить и любое другое русское имя, пусть будет Галина, потому что в самом этом имени тоже есть что-то смуглое и манящее. Говорила она на южно-русском наречии и хрипловато, что и понятно — она непрерывно курила дрянные болгарские

сигареты без фильтра *Джебел*, впрочем, других в этом городе и не продавали.

Они предложили предсказать и мою судьбу. Будущее мое на дне кофейной чашки нарисовалось бледно: неразборчивая дама, печально завернутая в темный плащ, а к ней впридачу — дальняя дорога. Я потребовал проверки и с этой целью взял кулачок Галины, вместе с чашкой, в свою ладонь. Веранду продувало; одета она была лишь в болониевую курточку поверх байковой в цветок кофты, напоминающей детство, и ее красный кулачок был холоден. Я повернул чашку к себе и заглянул в ее глаза. Выяснилось, что они уже не учатся — работают, причем — вот совпадение — в этом самом обезьяньем питомнике, и я не стал спрашивать — кем; заодно выплыло, что подруга ее — местная гречанка, и что я из Москвы, но живу не на турбазе — в гостинице, и мое одинокое окно смотрит сейчас прямо на нас. Мне нравился Галинин грубый говор, шершавая кожа, простонародный смех; мы сговорились встретиться завтра на этом же месте, и я понадеялся, что она сообразит не брать с собой свою коллегу по обезьяннику...

На другой день профессор был более приветлив, и улычива профессорова жена. В кабинет был подан кофе и орехи в запекшемся виноградном соке, причем хозяину явно жалелось, чтобы московский гость не ведал этого кавказского лакомства, и я доставил ему наивное удовольствие, подделав испуганное изумление. Хотя знал, конечно, что называется оно — чурчхела. Кажется, в мое отсутствие они сговорились прощупать меня на предмет усыновления, и, пользуясь благоприятной конъюнктурой, я тут же пришпорил беседу, начав с того места, на котором нас оборвали. Профессор кофе не пил, цедил минеральную воду; помолчав и решившись, он протянул руку, извлек из стола толстенную папку и положил на нее ладонь.

— Это, мой дорогой, и есть моя книга, а та статья — лишь облегченное предисловие.

Он принялся говорить, и чудные вещи открывались мне. Кажется, профессор видел всю нашу Землю наглядно, как глобус. Он перепархивал с широты на широту, вертел земной шарик эдак и так и вольно парил во времени, мешая в одно сакральные тексты тибетских лам, свидетельства конкистадоров, пророчества *вед*, откровения суфиев и слова Заратустры, иллюстрируя свою речь картинками с острова Пасхи, знаменитыми картами — турецкого адмирала с контурами Америки, начертанной до Колумба, и обратной стороны Луны, составленной до Белки и Стрелки; в его речи смешались устрашения египетской *Книги мертвых*, отголоски учения о Дзен и предупреждения Израилю больших и малых пророков; промелькнул Белый Диск на черном фоне, изображенный на пальмовом листе, подмигнул птичий глазок Инь и слился опять неразрывно с Янь, донесся гул мистерий в Доме Летучей Мыши; он закашлялся, и кашель его напоминал клекот Симурга, принялся задыхаться.

— Они бывали здесь не раз и не два... Быть может, они и сейчас рядом. Ведь они — это мы...

Вбежала жена с каплями; я отклонялся, едва в силах говорить, раздавленный грузом древних пророчеств и утаенных свидетельств, чувствуя дыхание невидимо присутствующего. *Они это мы*, — о чем он говорил? Я осознавал себя песчинкой, бессмысленной и неразумной, оброненной кем-то случайно, исчезающе малой рядом с непомерной и непроницаемой загадкой вселенского бытия. Но на свидание поспел как раз вовремя.

Они, чего я и опасался, опять явились парюю, впрочем, это было сейчас неважно. Боже, как милы мне были теперь простые люди с несмущенной невинной душой. Плоды дерзаний не рожают в них скорбь, и зуд проникновения в космические тайны не омрачает мирной радости тихих земных удовольствий. По этому поводу я, чуть пресыщенный тревогами о неисповедимости судеб мироздания, заказал побольше белого вина.

Конечно, заметную обремененность мою многим знанием девицы истолковали на свой лад. Выпивали они со вкусом, особенно *моя* Галина: обхватывала стакан всей ладонью и опрокидывала в себя разом треть содержимого. Ее вульгарность была простодушна, грубость не скрывала провинциальной юной застенчивости. Я не стал делиться с ними тайной многонаселенности Вселенной; ухаживал за той и этой, по мере сил вселяя в них дух здоровой конкуренции. Впрочем, в этой паре столь явно лидировала Галина, что наверняка товарке заведомо была отведена роль ассистентки, и мое ровно излучаемое на обеих внимание лишь нарушало субординацию, заставляя премьершу томиться и ревновать. Впрочем, проявлялось у нее это бесхитростно и беззлобно, лишь блестели глаза, выступал и гас румянец, беспокойно терлись одна о другую колени, она много и сбивчиво говорила. Попала она в этот причудливый город лишь пару лет назад из-под Ростова — с матерью, потому что отца никогда не было, а оба старших брата сидели сейчас по тюрьмам. Конечно, она уже немало повидала на свете за свой краткий век, вот только не встречала еще, по-видимому, московских журналистов. Я спросил, за что сидят братья, и она тут же, хватанув еще из стакана, пропела хрипловато частушку, как и положено на деревне девке, бойкостью прельщающей милёнка:

*Ох, тюрьма, тюрьма, тюрьма,
Ступенечка протертая,
Забла меня статья
Сто сорок четвертая...*

Мне и теперь эти четыре строки кажутся пронзительными: образ безысходной предопределенности судьбы — тюремная лестница; само этой лестницы изображение — в первой строке троекратным повторением, в последней — трехзначным числителем; наконец, единственное число во второй строке, ощущаемо передающее тюремную тоску, когда стоит перед глазами вот эта ступенечка, твоими подошвами зашарпанная... Впро-

чем, я не знал, за что карает статья 144 уголовного кодекса, а спрашивать было не с руки.

Подпив, мы вышли на набережную, уже оживленную в этот предзакатный час. Гречанка все жалась к Галине, избегая встречаться взглядами с согражданами, та же в свою очередь повисла на моей руке, цепко держась за рукав пиджака. Она болтала и хихикала, дергала мою руку вниз, не жеманясь, стараясь обратить на себя внимание, и, когда я другой рукой сжал ее мокрую ладонь, она так и впиалась в нее маленькими хваткими пальцами. Мы были так заняты этой любовной прелюдией, что едва не наступили на длинную жирную крысу. Я отпрянул. Обе мои спутницы рассмеялись:

— Да их здесь столько...Мы привычные.

Крыса, между тем, даже не прибавила шагу; хвост степенно волочился по асфальту, и прохожие уступали дорогу. Она пересекла тротуар и неспешно скрылась в тени взрослей акации. Мне почудилось, что не к добру, коли крысы считают себя в городе хозяевами. Но в те годы до гибели было еще далеко...

Утром я первым делом выяснил, кто дежурит в этот день по этажу. Оказалось, на смену заступила крашенная перекисью водорода блондинка лет сорока, коротконогая, пузатая и грудастая, явно почитаемая среди обитателей отеля, по преимуществу торговцев цветами-фруктами, привлекательной, потому что русская, белая, гостиничная, а значит доступная. Я и сам, грешным делом, как-то перед сном, явившись из ресторана, с ней кокетничал, но не помнил уже ее имени, кажется Марина Степановна; мне запало лишь: она утверждала не без гонора, что — плячка, и что я гожусь ей в сыновья, что не было большим преувеличением. Нынче я приподнес ей букет мимозы и шоколадку, опрометчиво полагая, что заслужу таким способом в случае чего послабления сурового гостиничного режима, и был приятно удивлен, с каким исполненным кокетства достоинством снисходительно она приняла мои скромные дары. Потом я по-

звонил профессору. Его жена сказала, что ночью у ее мужа был приступ, но он хочет меня видеть. И взяла обещание, что визит мой не продлится больше десяти минут..

Он сидел в том же кресле, но нынче даже при зашторенных окнах было заметно, как он бледен. Его большой лоб в слабом полусвете отдавал синевой. Ощущалось и в голосе, и в движениях, что он действительно очень слаб. — Дорогой мой, — прошептал он, — вчера я не успел сказать вам самого важного. То, что мы с вами сидим друг напротив друга, и доказывает, что они здесь.... — Он говорил так тихо и болезненно, что на мгновение мне показалось — он не совсем в себе. Но говорил он вполне связно:

— То, что я скажу вам сейчас, не знает никто. И никто не должен знать.

Это было похоже на посвящение. Я, страшась оказаться в положении обладателя проклятого Лунного камня и вместе — дрожа от любопытства, забормотал нечто в роде торжественной клятвы, но вышло как-то неубедительно, по-пионерски. — Что ж, иначе вы ничего не поймете, — пробормотал он, преодолевая последние сомнения. — Представьте себе цивилизацию, на многие тысячелетия обогнавшую нашу. Представьте, что при обследовании своей космической ойкумены предстатели ее попадают на Землю, где есть среда с подходящими для развития жизни условиями. Что они оставили бы на нашей планете?

Профессор прижал платок ко рту, чтобы за дверью не было слышно, как он задыхается. Действительно, что могли бы они оставить на нашей планете нам в назидание? Циклопические плиты, из которых сложен таинственный африканский ракетодром? Исполинские пирамиды, воздвигнуть которые невозможно и при нынешней технике? Или последствия какой-то гигантской катастрофы — до Чернобыля тогда еще было далеко, — отправившей на океанское дно Атлантиду? Будто слыша мои короткие мысли, он помахал у меня перед носом платком.

— Они оставили бы — компьютер, — прохрипел он. — Простейший компьютер, вот что они должны были оставить...

Что ж, в этом была своя логика. Конечно, они оставили бы свое оборудование, определенным образом запрограммированное.

— А каким должен быть компьютер не в третьем или пятом, но в сотом поколении? Он должен быть — живым, — прошептал он совсем тихо. — Что такое простейший живой компьютер, — продолжал он, уже с посвистом и скрипом, — как не живая клетка? — Восторг приближения к истине судорогой прошел по его белому лицу. Я тоже был в восхищении и придвинулся к нему вплотную.

— Какова программа, заложенная в живой клетке?

— Генетический код, — прошептал я, холодея от собственной догадливости.

— Именно, — отозвался он, — генетический код. Не мы были первыми на Земле, но — они...

На этот раз я пришел в ресторан намного раньше и, усевшись за столик поближе к воде, следил за полетом чаек, запрограммированным некогда вземным разумом. Теперь я знал, что в одной единственной клеточке, оброненной некогда пришельцами, содержался в проекте и официант с черной скобкой усов, и вино, что я ему заказал, и я сам — носитель последнего знания обо всем этом, знания, что принял из рук угасающего на глазах учителя.

Конечно, она и на этот раз не смогла отклеиться от гречанки, но была напудрена до синевы, жирные черные запятые шли от углов глаз к вискам, а крупные губы были обведены коричневым карандашом и — пурпурного цвета. Нынче она тщательно готовилась, что я и оценил. У меня тоже был готов план — я пригласил их к себе в гости. Они сомневались — пропустят ли их в гостиницу. Несколько успокоенные моими заверениями, что до одиннадцати они в праве находиться там, а значит — бу-

дут в безопасности, девочки приободрились. Похоже, жуткое для благонравных обывательниц восточного города это приключение было им даже по вкусу, хотя товарка Галины явно дрейфила. Я набрал сумку вина, мандаринов и сыра. Когда мы поднялись на мой этаж, за столом дежурной никого не было, — лишь желтенький букетик в банке из-под майонеза, — но все равно мои посетительницы пугливо озирались и жались к стенке. стакан в номере был только один, мы пили из него по очереди. На этот раз в ход пошло вино сладкое и крепленое, и вскоре девчушки захмелели. Подруга тоже принялась курить *Джебел* — от нервного напряжения они хохотали невпопад, потом принялись рассказывать страшные истории, как одна у них на работе на другую навела порчу, насыпав той иголок в сумку, как соседку муж, приревновав и отходив ремнем, привязал к кровати, а сам ушел в ночную смену, и ту ужалила змея, как, наконец, одна всё гуляла с отдыхающими, пока муж у нее сидел, а потом ее нашли мертвой — захлебнулась. Потому что она... это... ну, *сосала у мужиков*, а никто не знал... От этой дивной дичи веяло таинственной и темной свежестью жизни, жизни, которой я вовсе не знал, но которую тоже ведь должны были предусмотреть далекие пришельцы.

Когда еще выпили, они, как водится, запели. Сперва не слишком складные срамные частушки:

*Голубые, голубые,
Голубые небеса...
Сперва яйца упали,
А потом и колбаса.*

И здесь следует заметить, что под верхним вторым неприличным смыслом таился первый земной смысл — а именно: всегдашняя советская мечта о продовольствии, полученном без карточек и талонов, прямо из рук Господа, подобно манне небесной. Потом они исполнили нечто и вовсе охальное, балладу своего рода; участвовали в ней евангельские персонажи, а сни-

жение достигалось невероятным обилием матерщины, и даже меня, некрещеного, проняло это циничское богохульство. Но удивило пуще другого — стремление заглушить в себе пьяным ухарством страх перед силами над нами...

Солировала, конечно, моя Галина, вторая лишь смешно ойкала, подражая русской плясовой манере, потом стала икать и незаметно поскуливать. По щекам ее покатались слезы, а в ответ на наши расспросы она лишь что-то бормотала на своем языке.

— Это с ней завсегда, если выпьет, — сказала Галина.

— Отчего?

— Не знаю, что никто не любит, должно быть...

Я вызвался проводить раскисшую подружку на улицу, а Галине велел сидеть тихо. Когда я вел свою гостью мимо дежурной, та, смерив нас взглядом, лишь брезгливо ухмыльнулась: пора, пора *освободить*...

Была та минута южного вечера, когда свет небесный вот-вот погаснет, и сразу станут видны звезды. Я вернулся быстро, потому что дикарка наотрез отказалась идти со мной по улице даже до остановки автобуса. Ни она сама, ни я, разумеется, не знал, как сложится ее греческая жизнь. Уже в разгар войны ее семья доберется-таки до исторической родины, где она будет служить горничной в маленьком отеле в городке у Эгейского моря, — на *паралии*. В ее напарницу влюбится заезжий немец и однажды пригласит обеих прокатиться на лодке. Они отъедут далеко в море и услышат, что в церкви, на крыше которой — гнездо аистов, звонят колокола. Ей будет очень одиноко, она удивится, как далеко по воде катится колокольный звон, и поверит в Бога...

Галина сидела на кровати, завернувшись в одеяло, туфли ее валялись на полу. Я подсел и обнял, ища ее губы. Она мычала и отворачивалась, но когда мой рот лег на ее рот, пылко подалась ко мне и крепко обняла руками за шею. Целоваться она не уме-

ла, мне стоило труда просунуть язык между её сжатых зубов. От нее пахло вовсе не обезьянами, чего я опасался, но — черемуховым свежим мылом, земляничной помадой, глаженным бельем, и даже портвейн с табаком не могли перебить этот домашний букет. Несмотря на то, что она была так юна, грудь у нее оказалась мягкой, теплой, с большими твердыми сосками. Грудь тоже умилила меня. Теплыми были и ее широкие ладони, когда она прижимала к себе мою голову, — теплыми и сухими. А крупные колени, которые она, вздрагивая, то и дело сводила, и мне приходилось опять мягко их раздвигать, были прохладными и влажными отчего-то. И очень горячим оказалось лоно, когда я в нее вошел, наконец.

Раздался стук в дверь. Я натянул штаны, прикрыл дверь в комнату, спросил — кто там. — Откройте, откройте, — узнал я голос дежурной. Понимая, что мы попались, я повернул в замочной скважине ключ, стыдясь своего еще не остывшего естества, предательски выпиравшего, как мне чудилось. Но вместо разъяренной хранительницы строгих гостиничных нравов я увидел давешнюю тетку — раскрасневшейся, шиньон на бок, с дрожащими губами. — Помогите хоть кто-нибудь...

Пока мы шли по коридору к ее конторке, я уяснил, что какой-то подвыпивший постоялец приставал к ней, она едва отбилась и бросилась за помощью. Впрочем, обидчик, конечно, исчез, а тетка улыбнулась мне нежно:

— Спасибо вам...

И провела рукой по моему плечу. Уж не придумала ли она всю историю в поисках повода постучать в мой номер. Вот какая сила таится в цветах и шоколаде. Я чмокнул ее в щеку:

— Если что — я на посту...

Галина забилась в самый угол, натянув юбку и кофту кое-как, успев даже нацепить туфли; в руках — стакан портвейна, и отчетливо было слышно, как цокают о стекло ее зубы. Потом выяснилось, она была уверена — ее сейчас заберут, и по-своему го-

товилась к аресту. Я обнял ее, шепча на ухо, что никто-никто ее не тронет.

— Правда, что ль, — прошептала она с замиранием и благодарностью, будто я спас ее от неминуемой беды, и даже чуть всплакнула. Всхлипывая, путаясь дрожащими руками, она принялась торопливо меня раздевать; стянув с меня и трусы, она с боязливой осторожностью сжала кончиками пальцев мой опять набухший отросток. Потом вдруг отдернула руку и прошептала:

— Скажи, что никому не скажешь.

— Не скажу, не скажу, — бормотал я, распаленный, не зная, конечно, о чем речь, торопясь привлечь ее к себе,

Она оттолкнула меня и прошептала несколько даже злое:

— Клянись! — Я лежал на спине, она наклонилась надо мной, и ее волосы падали мне на губы. — Клянись: чтоб он отсох!

— Клянусь, — сказал я, несколько даже испугавшись.

Она отвела свои волосы, долго заглядывала мне в глаза, потом зажмурилась и стала сползать вниз, мотая головой, водая губами сначала по моей груди, потом по животу и паху. Я понял, в чем дело, лишь когда ее губы сомкнулись на моем предмете...

Мы провели еще несколько часов вместе, и, когда я вывел ее на улицу, все небо было усеяно крупными южными звездами. Она повторила понравившийся ей прием в темноте сквера, присев на корточки. — Стыдно-то как.., — прошептала она одними сытыми губами. — Я пойду, мне пора... а то мать разорется... Не провожай, мне близко.. — И уже из темноты. — Только никому, слышишь...

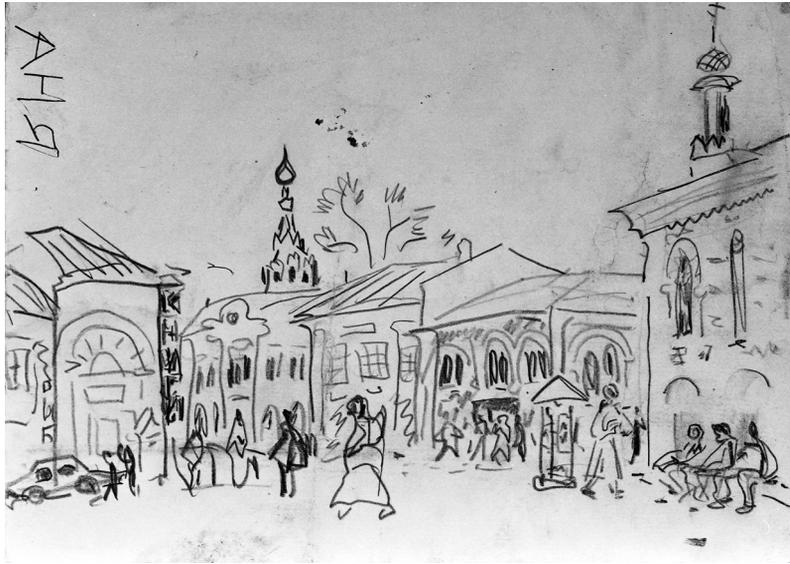
Кому я мог выдать это свое знание: общих знакомых у нас с ней не было, если не считать моего шапочного приятельства с ее подопечными шимпанзе, даже к исповеди я не ходил... Я стоял у самого моря, прибой накатывал под ноги. Пахло югом и ночью. Я испытывал блаженные легкость и пустоту в теле, смот-

Выше уровня земли и неба

рел на звезды, пытался заглянуть между ними — в непроницаемое. Я обладал двумя тайнами, не зная, которая из них важнее. Я не знаю этого и теперь, когда решился их открыть. Решился потому, что давно умер мой профессор, и разбежались обезьяны, пропали в неприютных горах; и разрушился город, шальной снаряд разнес ресторанчик на веранде над морем. Как теперь узнать, что случилось с девчушкой, которая, надо думать, давно забыла о доверенном мне секрете. Как проверить, верно ли, что все мы на этой земле не хозяева, лишь пришельцы. Посланники, посланные неведомо кем.







AH 9





Отдельные
рассказы





В ЭТО ВРЕМЯ В ТЮРЬМЕ

Нас было двое в вязаных шапочках. Позже я заметил еще одного, правда, в берете, из другой партии, так что получалось — трое на несколько сот *декабристов*, каждое утро сбивавшихся на плацу. Преобладали ушанки, хоть стоял только октябрь. Но попадались фуражки, кепки, даже одна велюровая шляпа с подрезанными полями, какие нахлобучивают, отправляясь в парилку, постоянные посетители бань.

Арестанты были распределены по пяти камерам, в каждой человек под шестьдесят. Декабристами мы назывались по месяцу издания соответствующего Указа, предусматривающего ускоренное, без формального следствия и с упрощенным рассмотрением в суде, административное заключение на десять-пятнадцать суток — за *хулиганку*. Контингент барака составляли *мужики*, как сказали бы в настоящей тюрьме, то есть люди, далекие от собственно криминального мира, преимущественно работяги, которых пристроили сюда жены или коммунальные соседи за буйство в пьяном виде. Реже попадались взятые за дебош в общественных местах, причем последние радовались своей участи: административный приговор по тогдашним законам включал следствие, а значит — возможный пересмотр дела уже по уголовной статье. Совсем редко сюда залетали бродяги, этих, очень тихих и осторожных в те годы, если и замечали, то как правило высылали из Москвы. Были здесь люди и с лагерным опытом, но давно завязавшие. Со мной в столовой колено

к колену сидел старик-вор, вида безобиднейшего. Божий человек, он все предавался ностальгии, сравнивая местную неудобоваримую пищу с лагерной: там и масло давали...

Безошибочно распознав друг друга по этим самым шапочкам и берету, мы, интеллигенты, старались держаться вместе, и уже на третий день общих работ нам дана была собирательная кличка *студенты*, каковыми двое из нас в самом деле были до ареста. Меня загребли при попытке ночью пробраться в аспирантское общежитие к подружке, моего приятеля по камере, студента-философа, — за декламирование цитат из *Лира* милиционером, остановившим его, когда он поздним вечером срезал путь к своему подъезду через автомобильную стоянку. Не говоря уж о том, что милиционерам наверняка не пришлась по сердцу теория андрогинов, если товарищ успел ее изложить, и в моем, и в его случаях, учитывая, что оба были в сильном подпитии, у нас с ними никак не мог бы состояться мирный платонический диалог. Третий, с которым мы сошлись в столовой, куда здешних обитателей запускали разом, был постарше, еврей-биолог, кандидат наук: они шли с коллегой из гостей, того не пускали в метро, он вступился за приятеля, которого отправили на ночь в вытрезвитель, тогда как биолога, поскольку он был трезв по причине обострения язвы, к нам, в *пансионат Березки*, как называлось это заведение на здешнем языке. Возможно, в названии этом сквозил арестантский сарказм простолюдинов, которым не светило когда-либо попасть в настоящий номенклатурный пансионат, каковых было немало в тогдашнем Подмоскovie, и почти все они *березками* и назывались.

Наша зона действительно располагалась за городом в сквозной белесой роще и со стороны смотрелась, как настоящая. Правда, не было вышек, собак и конвоя с автоматами, но этого и не требовалось. На работу в город нас возили не в *автозаках*, но в обычных автобусах без решеток, а на месте вообще никто не охранял. При желании можно было податься в бега, и были

такие ходоки, кто сидел в Березках и тридцать, и сорок дней: сбежав и выпив на радостях с товарищами, к ночи они непременно шли домой – выяснять казавшиеся им не до конца выясненными отношения, где их и поджидал участковый; в таких случаях количество арестантских суток автоматически удваивалось. Глядя на этих повторников, трудно было заключить, что их сильно гнетет наказание. Кажется, однажды оступившись и распрощавшись с тринадцатой зарплатой, профсоюзной путевкой в пионерлагерь для детей и очередью *на улучшение*, эти мужики, раз вкусив радость освобождения от бремени повседневности, относились к заключению, как к добровольному и долгожданному постригу. К тому же, не исключено, что в здешней жизни они находили и многие радости, которыми не баловала их жизнь в миру, где нужно было заботиться о себе, о питании и о домашних, и тяжело работать.

Но многие атрибуты были на месте: КП, *шмон* на плацу по возвращении с работ, *намордник* на двери камеры, единственное тусклое окошко под потолком, редкие прогулки дребезжащего света осенним воскресным днем – в субботу, отчего-то, не выводили – под холодным дождиком, двухэтажные нары, наконец, на которых всем не хватало места, так что новички первым делом попадали в разряд *вертолетчиков*, то есть, в ожидании очереди спали на дощатых лежаках, которые сами приносили по вечерам из подсобки и клали на каменный ледяной пол. Но главное – клацающие запоры, потому что при всем отличии в сторону либеральную от классических мест заключения, это было почти потешное, но все же узилище.

В тот день с раннего утра по камере прошел слух, будто на сей раз нас повезут не на свалку – разбирать мусор, но на табачную фабрику, что было, конечно, невероятным везением и неожиданным приключением, и зеки обрадовались, как если бы речь шла о посещении парка культуры и отдыха имени Горького. Среди шести десятков человек, каждое утро рвавшихся на

любую работу как на маевку, у нас в камере был и свой отказчик: он не хотел выходить из барака, сидел целый день на нарах и читал неведомо откуда здесь взявшуюся книжку “Горячий снег” без обложки, так что названия ее он не знал. Наказание за отказ было простым: вдвое срезали и без того жидкую пайку. Это был причудливый мужик – с обостренным чувством собственного достоинства и с незабываемыми представлениями о справедливом порядке вещей. К тому ж – везунчик, потому что попал сюда, а не в настоящую тюрьму: он сломал во время семейной ссоры челюсть своей сожительнице, вспоминал о которой добродушно, называл Валюхой, и даже показывал желающим фотку нестарой мордатой деревенской бабы с толстой белой шеей и городским перманентом.

В камере ему присвоили кличку Слесарь, что поначалу показалось мне несколько странным: здесь большая часть мужиков имела рабочие специальности, но, возможно, они были в основном токарями или фрезеровщиками, а слесарь, решил я, стоит ниже в табели о рабочих рангах. Строго говоря, по специальности он был сантехник ЖЭКа, на чем с гордостью настаивал. Слесарем, как я вскоре понял, его звали не с тем, чтобы обидеть, занижая квалификацию, а, напротив, уважительно, имея в виду, что он – специалист редкого профиля, что-то вроде хирурга, раз смог столь умело разнести челюсть своей бабе. Сильно повышало его авторитет и то, что был он здоровенный краснорожий мужичина, на оправку – параша в камере не было – ходил без шапки и в одной рубашке, и от него натурально валил пар. Сожительница же его, как выяснилось, была техник-смотритель, то есть в глазах камеры – кем-то вроде охранника и вертухая, так что в подвиге Слесаря чудилось им, всякую власть боявшимся и презирающим, что-то былинное, раз он ее сперва *драл*, а потом поучил как надо. Короче, в нем были налицо черты богатырские, и даже менты это чувствовали и признавали. Так что когда Слесарь после оправки и завтрака вышел,

клубясь паром, вместе со всеми на плац на поверку, стало ясно, что день предстоит выдающийся.

И нас действительно привезли именно на табачную фабрику, о чем свидетельствовала витиеватого шрифта, крутой дугой над железными воротами торчащая вывеска: *Дукат*. Наши равнодушные конвоиры всю дорогу в автобусе глухо молчали о пункте назначения, соблюдая, видимо, инструкцию, и в этом неприменном официальном неведении арестанта, лишь догадывающегося о грядущей доле, есть для русского фаталиста особая прелесть. Действует негласный договор: пастыри держат в секрете все, касающееся будущего их стада, но ведомые опережают своих поводырей, а неверные слухи, клубящиеся в их среде, а иногда и самые дикие суеверные предчувствия, с какими они вглядываются в омут своей судьбы, оказываются на поверку весьма точным прогнозом. И для большинства обитателей зоны, давно и глубоко проникшегося высокой метафизикой внешней несвободы, в этой бесконечной игре неведения, в которое их намеренно погружают, и напряженного прозрения есть свой сладкий и жуткий азарт...

Урок, который задали нашей бригаде, куда мы протырились все трое, и составленной самыми немощными, был даже юмористичным: нам предстояло оттаскивать от цеха готовой продукции вороха брака и сваливать их в сторонке, подальше от подъездных путей и склада, туда, где, наверное, их должны были потом сжигать. Надо сказать, что другие группы получили куда менее приятные задания, так что мы оказались в положении избранных. Дело в том, что этот самый брак или *некондиция*, как здесь говорили, были самыми настоящими, сухими и пахучими, фильтрованными сигаретами, которые нельзя было расфасовать по пачкам из-за того, что одни были не по длине обрезаны, к другим приклеился двойной фильтр. То есть дело обстояло ровно так, как если бы пьяниц оставили наедине с бочкой пива, дав инструкцию вылить его куда-нибудь подальше.

По-видимому, наша интеллигентская принадлежность ввела в соблазн конвоиров, понадеявшихся на наши то ли несообразительность, то ли совестливость.

Надо ли говорить, что работа у нас спорилась. Через полтора часа весь более или менее приличный брак был растащен нами и надежно припрятан. Остальной мусор мы свалили в укромный закуток, разложили костер и с наслаждением закурили, усевшись в кружок и чувствуя особую осеннюю легкость, сдобренную изытостью из мира и временной безопасностью. Другие члены бригады разбрелись кто куда, но мы втроем держались вместе. Быть может, в каких-то навыках мы, в шапочках и берете, и были менее годны к выживанию на этой земле, чем наши товарищи по заточению, но и в нас сидела способность укрыться и закопаться, споро примениться к неудобствам, обустроиться малым и – главное – вдохнуть полной грудью счастье каждой затяжки, каждого глотка подмороженного уже свежего воздуха, млесть под всяким теплым солнечным лучом. Было чувство парения и истомы, как при начале несмертельной болезни. Тут-то к нам и подсел Слесарь, неизвестно как на нас набредший:

– Закурим, студенты?

И он достал из кармана штанов пол-литра, из другого – черный хлеб, из-за пазухи банку от сгущенного молока с обрезанными и оббитыми краями. Мы даже не удивились тому, откуда взялась у него водка, столь естествен был его жест, вытащили заначенные кучи рассыпных сигарет. Биолог не пил, Слесарь не настаивал, банка пошла по кругу, мы трое по очереди залпом выпили по дозе, и в бутылке осталась ровно половина. Зажевали хлебом. Слесарь, смачно закурив, сказал:

– Во всем есть своя наука.

Никто не спорил.

Он заговорил о стояках, хомутах, давлении, вентилях и манометрах, а мы кивали, и он с удовольствием видел, что ни

один из нас ни звука не понимает. Молчал и мой приятель-философ, хоть и был скор на язык.

— А помните, в Москву к Никите Фидель Кастро приезжал? — спросил Слесарь.

Мы смутно помнили, хоть и не улавливали связи между историческим визитом и сантехническим ремеслом, а биолог, как оказалось, даже встречал героя цветами на Ленинском проспекте — в качестве отличника в составе делегации своего седьмого класса.

— Так вот, был у нас инженер в домоуправлении. Въедливый мужик, но справедливый. И надо ж было такому случиться, что в одном доме по Мичуринскому, в панельной белой башне, как раз тогда в подвале прорвало горячую трубу. Ну, натурально, весь подвал залило под завязку, а тут Кастро! Пар валит из-под дома, хоть и начало лета было на дворе, даже жарковато. Надо бы вентиль перекрыть, но только он там, глубоко, в кипятке, не достанешь.

— А почему Кастро? — спросил Биолог на правах старшего и наиболее бывалого из слушателей.

— Кастро как раз тогда приезжал, — пояснил Слесарь, — как раз на другой день.

— На Мичуринский? — спросил биолог.

— Ну да, в Москву, Никита его пригласил. Так вот, слышь, инженер этот ко мне: мол, так и так, Юрик, исторический визит, а тут, бля, пар валит из-под башни, а вентиль, бля, кипятком за-topило. В другое время, конечно, он отключил бы все четыре дома, а сейчас как отключишь, жильцы будут недовольны без горячей воды, хай поднимут, такое вот дело...

Слесарь сделал паузу и будто закручинился. Никто вопросов больше не задавал, столь поразила нас эта эпическая картина чрезвычайной сантехнической ситуации на исторически-политическом фоне: лысый Никита, бородатый Фидель, американцы — но пасаран, черно-белая кинохроника, пионерки с цветами и

панельная башня, из-под которой валит клубами горячий пар; и где-то там, вдальеке, одинокий в океане, далекий и родной, революционный остров.

— Нырять надо, — продолжал рассказчик, — с разводным ключом, иначе никак. Как же ты нырнешь, мне кореш говорит, тоже по сантехнике, ты там сварись на хуй. Это верно, инженер говорит, а если помпой. А куда сливать, говорю, подумал, и потом она ж прет, бля, и помпой ее хуй возьмешь. Инженер, конечно, соглашается, а в подвале кипятка уж по горло, на треть до потолка не достает. Вот, говорю, идея, тяни сюда, Сява, шланг с холодной водой от другого подвала и термометр. А чего тебе термометр, кореш говорит. Надо, говорю, а инженер не встречается, он меня знает, ждет, значит, чего будет. Ну, стал я холодную воду в тот подвал закачивать. Снизу горячая прет, а я ее холодной разбавляю. Вижу, как будто пару меньше стало. Сую термометр, ну, что-то возле семидесяти. Я корешу велю холодку подбавить, а сам раздеваюсь до трусов, беру разводной. Подождал, когда ниже шестидесяти стало, как в бане, и бух туда. Конечно, ничего не видно, муть, по поверхности пустая посуда с закуской плавают, крысы вареные, но я-то нашу систему, как свою бабу, на ощупь знаю. Правда, с первого раза не получилось. Но со второго, бля, зацепил ключом, вынырнул, опять туда, как, бля, водолаз, подтянул, нажал, опять наверх. Воздуха глотнул — пошел вниз, нажал, опять всплыл. И так раз с десяток, чуть не захлебнулся, дряни наглotalся, иди, говорю инженеру, за пузырьем для дезинфекции... Так, значит, и перекрыл, — закончил Слесарь и взялся за недопитую бутылку.

Мы молчали, пока он наливал. Но решительно отказались пить первыми из уважения к подвигу. — Ну, будем, — сказал Слесарь и допил свое. Закусил черной коркой, потом растопырил лапу и сгробастал ворох сигарет, лежавших перед нами на перевернутом ящике. Сунул за пазуху.

— И что? — спросил биолог.

— Пошел за пузырем, куда денется..

— Нет, что Кастро-то? — продолжал наседавать тот, видно потому, что ведь это он тогда встречал кубинского вождя, и до сих пор чувствовал известную ответственность за исход визита.

— А что Кастро. Ему-то хуй ли: выпил свое в Кремле и обратно на Кубу, — объяснил Слесарь. — Давай, добивай, сейчас обратно в пансионат погоним...

Мы втроем разобрали сигареты с тем, чтобы раздать каждому из нашей камеры. Пришлось десятка по три на брата, но все понимали, что главная хитрость — не отовариться, а пронести в зону, потому что наверняка нас там встретят полноценным шмоном. Помню, молодой мужик, похожий на потомственного мастера, с пышными ржаными усами и добродушной улыбкой, — таких рисовали тогда на плакатах, а прежде выкладывали мозаикой, — все приговаривал: да что б я этих сук не обманул... И, сняв штаны, повязал носовой платок так, что между ног под яйцами образовался у него вполне вместительный кошель. Многие прятали сигареты под подкладку кепок и в промежности ушанок, в носки и в ботинки, за отвороты штанов, но на плацу всем велено было разуться, шмонали круто и тщательно, но все равно каждому удалось пронести с собою курева, хоть и образовалась посреди грязного двора внушительная белая сигаретная груда, на которую мы все оборачивались, сожалея, когда нас запускали в барак.

После ужина арестантов ждало последнее развлечение — камеры по очереди отмыкались и их обитателей перед сном водили во двор на оправку. Потом еще была процедура поголовного пересчета, потом *вертолетчики* по одному ходили за своими лежаками, и в это время гас яркий свет и врбался мутный, *дежурный*, неуловимо похожий на рыбий жир. Наконец, дверь с шумом захлопывалась, и по очереди, на разные лады, клацали запоры, и походило это на перезвон колоколов. Камера еще долго шебуршила, жужжала, кто-то кого-то теснил на нарах, тихо бранясь, но мужи-

ки все как один в этот час странно менялись, не было уже и в самых заводных дневного ухарства, и смолкали даже ставшие привычными подъёбки. Довольно скоро то в одном углу, то в другом раздавался храп, сперва еще слышалось недовольное *ну, сука, загудел* и советы типа *ты ему отсоси, он и успокоится*, но скоро сопение, постанывание, тяжкий хрип с фистулой, клокочущий храп все нарастали, сливаясь в один тяжелый оркестр, И казалось, он-то и издает, помимо всей этой музыки, еще и целую гамму запахов: пота, кишечных газов, гниющей в нездоровых ртах пицци и закисающей обуви и одежды. Казалось, в эти десять-пятнадцать суток у каждого из этих мужчин была одна самая важная цель – отоспаться, а, может быть, они и вообще привыкли к тому, что сон – это и есть лучшее время жизни человека...

Эти часы в тюрьме после того, как камеру наглухо замыкали, казались мне самыми кромешными. Тут и начинала давить душная тоска, отступавшая было за дневной суетой. И даже тихие беседы с товарищем не могли от нее спасти. Говорить не было мочи, нечем становилось дышать, и никак не удавалось уйти в спасительный сон. Бывалые люди говорят, что обессиливающей этой тоске подвержен в тюрьме прежде других тот, кто слишком много оставил за зоной, и, действительно, как это ни смешно, я все время, мечтая о воле, думал лишь о ванне и о чистом белье...

Но в этот день все было не как обычно. Будто глухая дверь прищемила край дневного праздника, и он еще долго мерцал в мутном полусвете камеры. Все было устроились спать, когда ни с того ни с сего заговорил, и довольно внятно, чтоб все слышали, один молчаливый до того мужичонка.

— Я с бабой прошлый год в Геленджике отдыхал...

В другой вечер на него б цыкнули, но сейчас повисло молчание, выжидательное и будто даже поощрительное. Поймав общее одобрение, осмелев, он продолжил:

— Там на набережной, прям напротив дом отдыха, автоматы стояли. С сухоньким...

— Алиготе? — спросил кто-то, но на него зашикали.

— Ну вот, просыпаюсь как-то, выхожу на балкон и не пойму: все бегут туда, к автоматам, кто с банкой, кто с бутылкой. Я схватил графин со стола, воду вылил и тоже, как был в трусах, подбегаю. А там уж мужиков туча: сломался автомат и дает вино за бесплатно.

Камера тихо загудела.

— Клянусь, ребят, из двух сосков течет — только подставляй.
— Мужичонка тихо захихикал. — Там один даже с ночным горшком прибежал, у медсестры занял.

Слушатели оживились.

— Ну и дальше чего? — слышались вопросы. — А менты где были?

— Ментов не было. Никого не было. Те, кто у крана, другим полные банки передают, пьют по кругу, уже и кирных много, которые на старые дрожжи... А все течет.

Камера заволновалась. Отдельные скептические голоса потонули в хоре разнообразных соображений: куда надо было заливать, и как наладить порядок, и чтоб непременно кто-то стоял на атаке. Те, у кого особенно сильно работало воображение, сели на нарах, видно хорошо представив себе вожделенные соски, из которых точится бесперебойно живительная влага.

— Жаль, что не портвейн! — воскликнул кто-то.

— А дальше-то чего? — торопили рассказчика слушатели.

— Текло, — отвечал тот. — Я тоже пробился, графин наполнил и майонезную баночку заглотил....

И вдруг мой товарищ, с которым мы лежали рядом на нижних нарах, причем мне пришлось для этого пропустить троих из очереди ближе к окну, потому что он пришел в камеру чуть позже меня, мой товарищ подал голос:

— А если бы, — сказал он громко и насмешливо, ведь философы — скептики по призванию, — а если бы оно и всегда текло?

Камера притихла. По-видимому, многие мгновения ушли у каждого на обдумывание этого несусветного предположения.

— Как это – всегда? – недоверчиво переспросили сверху.

— А так, – подтвердил философ, – бесперебойно.

— Ну, тогда, тогда..., – неуверенно протянул чей-то голос.

— Да ладно тебе – всегда, – грубо выкрикнул другой, как будто распознал провокацию. – Когда б всегда, то на хуя тогда...

И многие его поддержали, одобрительно загудев. Действительно – *на хуя тогда*. Товарищ мой своей репликой разрушил механизм сказочного сюжета. Мало того, не только рассказ сам по себе мигом потерял смысл, но обесмыслилась и сама жизнь, у которой отобрали внятную цель. Быть может, многие мужики на нарах представили себе эту жуткую картину, когда не в силах больше влить в себя этого *сухарика*, *сухинича* и *кислятины*, они присутствуют при том, как прозрачная жидкость стекает на землю, образуя мутные лужи, а потом ручейками устремляется к морю, и вот уже само море непрестойно пузырится этим самым рислингом, белым мицне или алиготе...

Камера совсем было затихала, когда на верхних нарах началась невнятная поначалу перебранка. О чем там спорили – было не понять. Чей-то голос сказал: кончай базар, мужики. – Нет, ты вот сам скажи, – живо откликнулся один из спорящих, – был бы ты Гагарин, и тебе предложили бы в космос – полетел бы?

— Да на хуй туда летать – в вакуум в этот, – отвечали снизу.

— Так ведь первый человек в космосе, вы чего, мужики, в натуре, – вскричали наверху.

— Да и не было никакого Гагарина, – сказали снизу. – Куклу запузырили, а сам Юрик внизу сидел, звезду героя дожидался.

— Это кто там, бля, пасть раскрыл? – узнал я голос Слесаря. – А кто тогда сказал: поехали?

— А хули там – записали какого-нибудь там артиста на магнитофон, говна-пирога...

— Да ты сам, бля, артист, – бушевал Слесарь и тяжело призе-

млился на каменный пол. – Гагарин, бля, планету кругом облетел, пока ты здесь, бля, в камере дрочишь...

Дело запахло дракой, но в это время конвоир тяжело постучал металлическим ключом в дверь и внятно произнес, откинув намордник: отбой, кончай кипиш.

– Нет, Слесарь, ты все-таки сам-то – полетел бы? – громким шепотом продолжали сверху.

– А чего – полетел бы, коли позвали б.

– И любой полетел бы, – подтвердил тот. – Чего не полететь. Вон, Белка и Стрелка – и то летали...

– Вот, бля, я и говорю, собачье это дело над собой опыты ставить, – проворчал все тот же голос неподалеку от меня.

– Мне одна проводница рассказывала, – зашептал мне в ухо мой товарищ, – будто она с Гагариным спала, когда он в ее мягком вагоне ехал.

– Апокриф, – сказал я тихо, погружаясь в дрему, но и успев удивиться, что скептический мой друг тоже проникся темой.

– Я тоже так думаю....

Все успокоилось, но тут и там было слышно, что соседи продолжают обсуждение шепотом. Как ни странно, но сегодня меня клонило в сон, видно, выпитая водка и выкуренные сигареты оказались хорошим снотворным.. Засыпая, я представлял себе, как наша камера с двухэтажными нарами и вертолетчиками на полу летит по орбите, а в маленьком подпотолочном окошке можно увидеть, коли подтянуться на решетке, в дымке облаков очертания зеленых материков. Мой товарищ тронул меня за плечо.

– А ты? – спросил он.

– Что? – не понял я спросоня.

– А ты, – повторил мой философ-скептик, – а ты – полетел бы?

ФЛОРАНС

Говорят, в Париже не найти бесплатную женщину. Как любое обобщение – и это натяжка, все зависит от везения. Или невезения, как угодно. Один мой знакомый сочинитель опубликовал в “Литературной газете” своего рода путевые заметки после того, как побывал в столице Франции, – ради одной единственной истории. Ему бы промолчать, история его никак не красит, ну да писателей за руку не удержишь. Смысл в том, что на бульваре Бастилии, на которой никакой Бастилии уже два века как нет, зато есть канал, выкопанный Наполеоном, приятель подцепил миленькую француженку лет тридцати, говорившую по-английски и мигом пригласившую его к себе в гости. Не веря своей удаче, дурачок заплатил за такси до Клиши, и был страшно удивлен, когда дверь квартиры открыл сутенер славной крошки и объявил цену, – полторы тысячи франков за час, – показавшуюся соотечественнику несусветной. Российский литератор полагал, должно быть, что если по вторникам туристов в Лувр пускают бесплатно, то и ноги раздвигают лишь за прекрасные славянские глаза.

Глупо, парижанки дорого стоят. И это при том, что совершенно неясно, за что мы в России так воспеваем француженок. В массе своей они довольно бесцветны и совсем не сексуальны. Я в Париже ходил только пешком; был ранний ноябрь, погода отвратительная; в первый же день я отправился в музей д’Орсе, что располагается на левом берегу Сены в бывшем Лионском

вокзале, нашел множество картинок, которые знал по репродукциям, — импрессионистов и даже прелестного грустного Пьеро кисти Ватто, — и на несколько минут почувствовал себя в Париже как дома, обычная иллюзия восторженного путешественника-дебютанта, — Париж — один из самых закрытых и холодных мировых городов, и чтобы его раскусить нужно немало помучиться.

Посетить музей — что православную обедню отстоять, и за этот подвиг я наградил себя неспешной прогулкой; тщательно и с энтузиазмом прочесав весь шестой аррондисман от церкви Сен-Жермен-де-Пре до Люксембургского сада и бульвара Сен-Мишель, выпивая по крошечной рюмке коньяка на всяком углу, тридцать с чем-то граммов, то и дело суя нос в бесчисленные здесь очень дорогие сувенирные и антикварные лавочки, крошечные галереи, — сперва я чуть вздрагивал от неперемного звона колокольчика над каждой входной дверью, — я заглядывал, конечно же, и в лица встречных женщин, в лица хозяек этих лавочек, в лица спешащих куда-то стайками парижских тинейджеров женского пола. Физиономии были хмурыми и некрасивыми, фигуры унылыми.

На другой день я предпочел остаться на правом берегу; меня понесло в Булонский лес — по прустовским, так сказать, местам; нашел ворота, пошел по дороге Сюрезн, свернул в лесок, помочился на жасминовый увялый куст, все похоже на любой парк, хоть филевский, — и никаких одетт; одни лишь господа с несколько изломанными походками, в шарфах, манерно завернутых, один конец вдет в петлю другого, и с породистыми псами на поводках, да старушки в белых перчатках, стерегущие детей, запакованных в чистые костюмчики. Где-то в этом районе должен был быть и музей Монмоттан с Клодом Моне, но, хотя я и сверялся с планом, отсчитывая кварталы от бывшей площади Звезды, все ж таки заплутал, оказался на холодной буржуазной авеню Фош с глухими особняками начала века, на крыше одно-

го из которых был разбит невероятный зимний сад – при ближайшем осмотре это оказалось посольство Марокко; затем попал на авеню Виктора Гюго, продрог, но никак не мог найти хоть быстро, чтобы опрокинуть рюмку кальвадоса и согреться. Наконец, я набрел-таки на маленькое пустое кафе и застал в нем невероятно хорошенькую блондинку-посетительницу лет под тридцать, беседовавшую с пожилой дамой. Наконец-то, возликовал я, наконец-то я увидел действительно красивую французенку; увы, едва я уселся за соседний столик, как расслышал, что говорят дамы по-польски...

Я художник, так надо представиться, хотя строго говоря – я дизайнер, впрочем, кому в Париже дело до таких тонкостей. В столицу Франции я попал относительно случайно и за чужой счет – таким способом мне оплатили работу по оформлению сельскохозяйственной выставки Прованса, и я, дурак, чем поехать на юг любоваться виноградниками Арля, куда меня звали работодатели, уперся и заставил их отправить меня в Париж, в котором всю жизнь мечтал побывать. Клерк принимавшей фирмы встретил меня в аэропорту “Де Голь”, отвез на стареньком “пежо” в дешевую гостиницу недалеко от Лафайетт, – с магазином Тати за углом и множеством арабских торговых точек, как выражаются в России, – заплатил портье за неделю моего проживания, сунул мне конверт с гонораром, – шесть тысяч франков, недурно, не правда ли, – и был таков. Знакомых у меня в городе не было, так что я оказался целиком предоставлен самому себе, и это ли не чудно.

И все бы ничего, Париж и в дурную погоду обворожителен, пусть и закрыты на висячие замки железные ящики букинистов по левому берегу, а Сена с идущими по ней в сумерках иллюминированными прогулочными баржами, тонет в сизом влажном тумане. К тому ж пришла пора божоле, и я выпивал по бокалу молодого вина на всяком углу, занимая всегда столик в кафе на уличной веранде, затянутой полиэтиленом, вблизи раскален-

ных газовых жаровен, торчавших на одной ноге в каждой забегаловке, — особенно в Марэ, вокруг площади Вогезов или на Риволи. Ну да я отвлекся и забежал вперед...

Короче, я был бы на верху блаженства, когда б не история, в которую я влип на третий день и которая меня несколько озадачила. С утра я вышел из своего отеля и направился лицезреть церковь Мадлен, но меня опять вынесло не туда, на бульвар Клиши, и совершенно неожиданно я узнал из надписи на фасаде одного из домов, что нахожусь на площади Пигаль.

Кто ж в России не знает Пигаль. Впрочем, некому мне было подсказать, что красные фонари давно перенесли на Сен-Дени, так что, заглянув в один-другой секс-шоп, я все удивлялся, — где же, собственно, девочки. Заменяли их унылые порно-кинотеатры, в один из которых я заглянул. В фильме один малый имел сразу двух блондинок, причем сначала пользовал одну в зад, а потом другой кончал в рот. Пахло черным людом и негритянской спермой. Какой-то смуглый паренек уселся рядом и, я почувствовал, уже приноровился было полезть мне в ширинку. Я вышел на свежий воздух и тут же уткнулся в афишу заведения, предлагавшего “живую любовь”. Не было и двенадцати, но дверь оказалась распахнута. Все лучше, чем изношенная киноплёнка. К тому ж цена была весьма умеренная – сорок франков. Не сумев пересилить любопытство, я вошел.

В заведении, конечно, было пусто. Хозяин, атлетический красавец-блондин арийской внешности, говоривший по-английски, обворожительно улыбнулся и пригласил меня в следующее помещение. Он усадил меня за столик в углу, тут же обнаружилась и дама — негритянка лет двадцати пяти, тонкая как бамбук, с довольно правильными на европейский взгляд чертами, хоть и с большой нижней губой, вывернутой так, что видна была сподка цвета лосося. Она присела рядом и заговорила со мной по-своему, будто мы были много лет соседями по лестничной площадке. Она спросила кто я, чем занимаюсь, когда ус-

льшала, что я – рашн артист, мило щебетнула вау. Я в свою очередь вежливо поинтересовался ее происхождением и семейным положением, она, улыбаясь и сверкая коричневыми глазками, объяснила, что родилась в Камеруне, а в Льеже у нее муж-француз и маленькая дочка, и что она навещает их по выходным. Впрочем, я уж засунул руку ей под юбку, под которой, разумеется, не нашел трусов, и пощекотал указательным пальцем ее сфинктер. Она предложила выпить шампанского, которое тут же появилось, и поинтересовалась, чего бы мне хотелось. Поглядев на ее губы, я сказал, что хотел бы ее рот. Нет ничего проще, заверила она меня, только предложила для начала уладить материальные вопросы с хозяином. Тут-то и поджидала меня мина: ариец объяснил мне, что я уже, еще до похода в камерунский кабинет, задолжал заведению четыре тысячи. Это за бутылку дрянного шипучего пойла и за то, что пощупал негритянскую задницу. Я хотел было возмутиться, но из-за драпировок вышли двое арабов приземистого вида, один при этом шмыгал носом, и оба тарасили непроницаемые, как пустыня, глаза бедуинов. Я вывернул карманы – с собой у меня было чуть больше трех тысяч, и немец забрал все до сантима, даже мелочь, но благородно оставил карточку для проезда в метро. Несколько потрясенный происшедшим я выкатился на улицу и побрел куда глаза глядят, находя, впрочем, приключение пикантным и поучительным, было жаль лишь, что придется проститься с мыслью купить в Париже приличное пальто. Впрочем, я смог-таки обмануть алчного тевтона и сохранил две тысячи в заднем кармане брюк: по какому-то наитию я предусмотрительно отделил их и не положил в портмоне. Вскоре я почувствовал, что иду отчего-то вверх и, сверившись с планом, сообразил, что взбираюсь на холм Монмартра.

Кажется, я говорил уже, что я – художник. И в плохие времена цветными карандашами рисовал портреты провинциалок в подземном переходе под Арбатской площадью. При виде моих

монмартских коллег на площади Тертр, я вообразил, что мог бы, — если, конечно, здесь нет такой же как в Москве мафии, — и тут чуть заработать, коли припрет, купить только бумагу и карандаши. В таких раздумьях я уселся за столик уличного кафе прямо под боком похожей на белый торт церкви Сакре-Кёр и заказал бокал божоле.

Я потягивал вино, посмеивался над собой и опять ощущал прилив того тихого блаженства, которое охватывает вас в Париже, коли вы не суетитесь, и — тут-то она и объявилась.

Вы, конечно, не поверите, но все было именно так — она сама села за мой столик. Быть может вам кое-что прояснит описание ее внешности: мягко скажу, она не была юной красавицей. Точнее, ровно наоборот. Было ей, как выразились бы деликатные англичане, “на солнечной стороне пятидесяти”. Сказать, что она была высокого роста и худа, значит ввести вас в заблуждение: она была тоща и суха, будто ее извлекли из гербария, с темными кругами под глазами и гуманитарным выражением несколько лошадиного длинного землистого лица. В ее некрасивости было нечто даже артистическое, а ее манера держаться исподволь выдавала принадлежность к богеме и, скорее всего, приверженность марихуане, развлечению как раз ее поколения. Но, что самое удивительное, — она волновала. “Вот он, неуловимый парижский шарм”, — сказал я себе.

Мы посидели несколько минут молча, она спросила себе кофе, когда чашка была перед ней — мы заговорили. Она почти не знала английского, но — чудо — говорила по-русски, причем весьма прилично. Она сказала: я сразу же поняла, что ты — русский художник. На мой вопрос, что же во мне такого русского, ответила: глаза, плащ, манера носить шарф. Плащ был шведский, шарф — от Диора, но что там говорить, русские глаза не спрячешь и не переделаешь... Оказалось, она некогда переводила Грабаря для какого-то сумасшедшего французского издателя. Это ли не знак судьбы, ибо согласитесь — в этом есть что-то не-

сусветное: быть ограбленным на Пигаль, а через час болтать по-русски в кафе на Монмартском холме с француженкой, осведомленной в вопросах истории отечественной живописи. К тому ж, как выяснилось, она и сама писала акварели.

Вы уже знаете, звалась она Флоранс, но не была парижанкой, а некогда, в мятежной своей молодости, приехала на берега Сены из французских Альп, она назвала и имя родного городка – Анси, и действительно – в дополнение к длинному черному глухому плащу и вязаному шарфу, на ней была какая-то шапочка, похожая на тирольскую, из-под которой выбивались пряди крашенных в ярко-рыжий цвет жидких волос. Мы довольно быстро выяснили и многое другое: у нее есть друг, которому она не может изменить. Поскольку дала слово быть верной. К тому ж когда-то она любила одного “русского человека”, он был сумасшедшим и нежным, – и писателем, разумеется...

Как только женщина любой национальности и расы по собственной инициативе заговаривает с вами о своих бывших любовниках и нынешней своей верности – готовьтесь ложиться в постель. Впрочем, в том, что я созрел для такого поворота дела, я еще не был уверен. Прежде другого мне оставались неясны условия, и вам, конечно, понятны мои сомнения. Поэтому для начала я рассказал ей о том, что произошло со мной на Пигаль. Конечно, я опустил некоторые моменты, не стал говорить, куда именно я пытался засунуть указательный палец правой руки, но про финансовый позор повествовал как на духу. Она очень сочувственно меня выслушала. Она даже всплеснула руками в том месте рассказа, когда я описал как этот самый скряга-ариец выудил у меня из кармана плаща мелочь. Она заметила, что ни один француз, конечно, не зайдет в такое место, ибо всем известно, как там грабят простодушных посетителей. И что попасться на такую удочку может только турист. Но глаза ее заблестели.

Я предложил ей выпить. “Да-да, я закажу”, – сказала она. Принесли бутылку божолы и чуть сыра, порезанного кубиками,

нежнейшего, к слову. Через полбутылки мы уж были на “ты”, а к концу – совсем сдружились. Оказалось, ее Лев Толстой был, конечно же, нищим эмигрантом, и в России она ни единожды не была, – и мы заказали еще бутылку. Она и без того выглядела несколько экстравагантно на общем благопристойном парижском фоне, а тут, видно согревшись, сдернула свою шапчонку, из-под которой показалась странная стрижка – перья дыбом, к тому ж – совсем оранжевые. Она громко смеялась, скаля слишком ровные для ее возраста большие зубы – во всю пасть, и клала мне на руку свою руку, на которой были приметны бледно-бежевые пигментные пятна. Я предложил прогуляться, она согласилась, я позвал гарсона. Едва подали счет, она экспансивно кликнула:

– Нет! Ни за что! Только я, только я...

И принялась энергично копаться в сумочке, выкидывая на стол содержавшиеся там нехитрые вещички.

– Ты так много потерял, – объяснила она, и я не сразу понял, о чем она говорит. Лишь потом сообразил – Господи, о моем приключении на Пигаль, но она-то отчего должна платить за мою глупость...

Что ж, в этом ее жесте был даже оттенок нежности и материнской заботы, – французской нежности, хотелось думать мне, – хоть старше меня она была от силы лет на десять. Мы встали, и она повлекла меня по Монмартскому холму, приговаривая *я покажу тебе нашу деревню*. Мы скоренько миновали толпу туристов и углубились в какие-то кривые проулки. Впрочем, на бегу она скороговоркой упомянула музей Дали, кафе, в котором бездельничал Утрилло, кабаре Лапин Агил, ресторан Дом Роз, а там по аллее с мильми домиками за оградами, увитыми плющом, мы устремились вниз. Я, естественно, понятия не имел, куда она меня тащит, – уж не к себе ли домой, – и пробно обнял ее за плечи, притянул ближе и запустил было руку к ней под плащ. О, не теперь, пропела она, и вдруг остановилась. Не

лишенным торжественности жестом она положила мою ладонь себе на грудь. Видишь, ее нет, шепнула она, здесь, справа, ее отрезали. Впрочем, левая грудь у нее тоже была совсем незаметна, так что не велика оказалась потеря, но ее непосредственность несколько обескуражила меня, хорошо хоть она сообщила мне эту свою интимную тайну без пафоса, каковой не преминула бы припустить в таком случае всякая русская. Что ж, это было знаком скрепления любовного договора, и мы продолжали спускаться, хоть становилось все более полого. Не помню как, но, миновав какие-то каменные серые ворота, мы оказались – на кладбище.

Это не было кладбище в нашем привычном смысле слова – возьмите хоть сановное Новодевичье, хоть плебейское Востряковское. Это было нагромождение склепов и часовень, миниатюрных мавзолеев и обелисков, перевитых стеблями жимолости, белого камня преимущественно, химерический парад архитектурных стилей – от саксонского и романского до мавританского, как будто кто-то специально перемешал культурные слои, накопленные веками, и свалил как попало. Выглядело все это торжественно и жутко. Каждый склеп, каждая могила порознь имела совсем особую физиономию, и каких только деталей здесь было ни рассмотреть: намеки на полукруглые или стрельчатые своды, каменные розетки, какие-то символические сакральные орнаменты, зигзаги и ромбы, гротески из птиц, зверей и растений, арки и колонны, резные фризы и лепные портики, стертые могучие ступени, ведущие никуда, таблички, таблички с надписями – в основном по-латыни, – и гипсовые безмолвные ангелы, скорбно закатывавшие мертвые глаза. Но вместе в этом хаосе чудился некий общий замысел, и мне стало страшно, когда я понял, что передо мной как бы вывернутый наизнанку великий замысел культуры. Священные камни Европы воочию лежали передо мной, но испытывал я не восторг и не благоговейный трепет, но – боль. Никакой памятник

Парижа, знакомый по сотням фотографий, не сказал бы мне и сотой доли того, что нашептал этот город мертвых: вам, русским, никогда уж не быть с нами, никогда, никогда...

Показалось, Флоранс тянет меня за рукав, и мне почудилось, что она собирается забраться в один из склепов. У меня мелькнуло воспоминание о виденном некогда эротическом фильме, в котором героиня могла кончать только на кладбище. Я непроизвольно хотел было вырвать руку, но, оглянувшись, понял, что ее нет.

Я пошел куда глаза глядят. И уже через пару минут спохватился, что непременно заблужусь в этом некрополе без нее, моей провожатой; оглянулся, — нет, ее нигде не было. Пошел было назад, но вскоре совсем заплутал. Я пытался было окликнуть ее, но вовремя сообразил, что не могу же кричать в этом скорбном, торжественном, изнемогающим под грузом собственной последней красоты месте, — к тому же кричать по-русски. Да и что бы я мог крикнуть. Как мне было позвать ее, мою добрую и безумную Флоранс, несбывшуюся мою бесплатную парижскую любовь...

Там, на монмартском кладбище, я потерял ее навсегда, ведь даже номера телефона не догадался у нее спросить. Оставшиеся три дня в Париже были грустны и пусты, мне, как ни глупо, захотелось домой, на свою нищую и грязноватую тосливо-бесхитростную родину. Я всякий день приходил на Монмартский холм, сидел то в одном, то в другом кафе, много пил, не божоле — крепкое, и по несколько раз на дню возвращался туда, к стенам Сакре-Кер, — но ее и здесь, в сени храма чужой веры, не было.

Перед самым отлетом я заглянул внутрь церкви, но и церковь была пуста. В дешевом киоске я купил крохотное серебряное распятие с крохотной серебряной бляшкой, на которой оттиснута была святая Женевьева, и с маленькими деревянными четками на цепочке. Отглатывая Мартель, купленный во фри-

Ближний круг

шопе и откупоренный едва взлетел самолет Аэр-Франс, — я перебирал четки в пальцах. И повторял на разные лады:

— Флоранс, Флоранс...

Впрочем, так же звали — во всяком случае, так она представилась, — миленькую стюардессу, с синей попки которой я во весь перелет не сводил глаз.

1999













СОДЕРЖАНИЕ

Из цикла «Синица в руках» (1970 – 1972)

Синица в руках	7
Как деля, кисуля?	15

Из цикла «Запретная зона» (1974 – 1976)

Презент	29
Почекай	36

Из книги «Ранние берега» (1977)

Пустеет воздух	51
----------------------	----

Из книги «Фотографирование и проч. игры» (1990)

Уроки черно-белой печати	73
Мотив Кортасара: увеличение	84
Нарушения в пейзаже	96
Образ жизни, моментальный снимок	111

Из романа «Дорога в Рим» (1995)

Фонтан и Анна	125
Навигация в фиорде	142

Из книги «Далее — везде» (2002)

Выше уровня земли и неба	169
--------------------------------	-----

Отдельные рассказы

В это время в тюрьме (1992)	193
Флоранс (1999)	206

Художественный редактор Т. Карпова
Верстка Г. Мухина
Сканирование В. Нагорнов

Формат 70 x 60/16
Бумага офсетная
Гарнитура Баскервиль
Печать офсетная
Тираж 500 экз.
Зак. № 102.

ОАО типография «Новости»
Россия, 105005 Москва
ул. Фридриха Энгельса, 46